

НИКОЛАЙ ГАРИН-  
МИХАЙЛОВСКИЙ

**В СУТОЛОКЕ  
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ  
ЖИЗНИ**

# **Николай Георгиевич Гарин- Михайловский В сутолоке провинциальной жизни**

## **Аннотация**

«Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года.

После трех описанных мною пожаров, я потерял большую часть своего оборотного капитала и, не желая вести дело на занятой, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему – некоему Петру Ивановичу Иванову...»

# Содержание

I	5
II	13
III	38
IV	47
V	59
VI	62
VII	79
VIII	89
IX	106
X	109
XI	115
XII	119
XIII	131
XIV	150
XV	156
XVI	169
XVII	179
XVIII	189
XIX	192
XX	205
XXI	222
XXII	228
XXIII	247

XXIV	267
XXV	283
XXVI	293
XXVII	305
XXVIII	314
XXIX	320
XXX	324
XXXI	327
XXXII	334

# Николай Гарин- Михайловский В сутолоке провинциальной жизни

## I

Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года.

После трех описанных мною пожаров, я потерял большую часть своего оборотного капитала и, не желая вести дело на занятой, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему – некоему Петру Ивановичу Иванову.

Выбор Петра Ивановича был сделан мною не вполне самостоятельно: рекомендовал мне его Чеботаев, как человека стойкого и умеющего подобрать распушенные мною вожжи.

То, что все случившееся со мной произошло на этой именно почве, – в этом не сомневался никто.

– Мне кажется, что с вами случилось, – утешал меня тогда Чеботаев, – нечто в таком роде. Позвали вы человека и ска-

зали ему: «Вот тебе рубль». – «За что?» – «Так, ни за что». – «Спасибо». И на другой день позвали и дали, и на третий, и на четвертый, и так далее, приучив себя давать, а их брать. И в один прекрасный день, когда вместо рубля вы дали им полтинник, они обиделись и стали жечь вас. Петр Иванович звезд с неба хватать не будет, но он человек деловой, практичный, стойкий и, главное, честный.

И вот Петр Иванович в один пасмурный декабрьский день приехал ко мне в Князевку.

Он долго пыхтел и шумел, раздеваясь в передней; из кабинета я слышал его властный голос, которым отдавал он прислуге разные приказания относительно своего багажа, необходимости просушить его чапан, валенки, – как именно просушить. Кончив по части распоряжений, он долго сморкался и, наконец, властно приказал:

– Доложи: управляющий Петр Иванович Иванов.

Не дожидая доклада, я сам пошел в переднюю и со словами: «очень рад познакомиться» – протянул новому управляющему руку.

Но не такой был человек Петр Иванович. Его чиновничью субординацию, очевидно, покорила моя фамильярность, и, отступив, не торопясь жать мою руку, он сухо и строго, в упор, проговорил:

– Честь имею представиться: управляющий Петр Иванович Иванов.

– Очень рад... пожалуйста...

И я указал ему дорогу.

– Нет, уж позвольте, – еще строже ответил Петр Иванович и так твердо указал мне идти первому, что мне оставалось только исполнить.

Дойдя до кабинета, я предложил гостю сесть и уселся сам.

Но и тут Петр Иванович сел не сразу. Он поблагодарил меня за мое предложение сесть таким кивком головы, который как бы говорил: «еще посмотрю я, стоит ли мне садиться: может быть, ты в самом деле такой сумасшедший, что я, не теряя времени, уеду к Чеботаеву, у которого знаешь по крайней мере чего держаться».

Все это я чувствовал, – чувствовал, что в лице Петра Ивановича со стороны всего уклада нашей уездной жизни мне предлагается своего рода ультиматум, после которого в зависимости от того, будет ли он принят мною, или нет, я буду причислен ими к подающим надежды на исправление или безвозвратно погибшим.

Понимал это, очевидно, и хорошо понимал, и Петр Иванович.

Полный, с брюшком и лысиной, с задорной осанкой, гладко выбритыми щеками и большими усами Петр Иванович, не торопясь, с достоинством осматривал мой кабинет, картины, меня.

Он сел, наконец, и сразу приступил к делу.

Чеботаев рассказал ему все. Нужны твердость, выдержка. Он знает имение. Имение, по его мнению, может дать даже в

первое время до десяти тысяч дохода в год. Через несколько лет он надеется поднять доходность до пятнадцати тысяч.

Я слушал и уже смотрел на толстого Петра Ивановича, как на неисчерпаемый запас пачек по пятнадцати тысяч каждая, которые он одна за другой каждый год будет мне вручать.

– Я берусь... но... – и Петр Иванович, остановился, – я ставлю... э... условие... Я говорю и буду действовать в ваших интересах, и в ваших интересах я должен все сказать. Всякое ваше приказание я обязан исполнить или уйти, – когда только вы это мне прикажете. Но пока вы считаете меня полезным, вы ограничиваетесь в своих распоряжениях мною... С остальными говорю я, и вся ваша забота – поддержать мой авторитет. Потому что мой авторитет – ваш авторитет.

Я не буду утомлять читателя дальнейшими нашими переговорами с Петром Ивановичем.

Скажу коротко, что к вечеру мы с ним договорились и начали согласно выработанной программе действовать.

Прежде всего решено было исправить ошибку суда, вынесшего оправдательный приговор моим поджигателям: решено было наказать своей властью виновных.

Я их знал всех. Пяти богатеям с их семействами, наиболее виновным, я предложил навсегда покинуть Князевку. На их естественный отказ исполнить такое мое требование я собрал через несколько дней после приезда Петра Ивановича сход.



– Если вы желаете, господа, – сказал я, – иметь со мной дело и вперед, я ставлю условие: эти пять семейств должны покинуть Князевку.

Мне отвечали, что общество здесь бессильно что-нибудь сделать.

Я в свою очередь сказал:

– Вашу силу я знаю: если вы захотите, то сможете. Как хотите, но вот мои условия: пока эти люди не уйдут добровольно, я вам не дам ни земли, ни выгона, ни леса, ни воды.

Я ждал ответа, но его не последовало.

Я смотрел тогда на все с своей точки зрения: я был оскорблен их молчанием, я сделал свой вывод из него, – им дороже их товарищи поджигатели со всем злом, которое несли они с собой, дороже меня, несшего им всю свою душу, все добро, которым располагал.

– Теперь зима, господа, и я вам не нужен, но ведь придет весна... И вам нечего будет пахать, вам некуда будет выгнать для пастьбы скот.

Родивон Керов, приземистый крепыш, молодой и остроумный, попробовал было пошутить:

– Кто там жив еще будет до весны.

Шутка не вышла, голос его тоскливо оборвался, потому что я слушал и смотрел на него не так, как когда-то.

Он смущенно махнул рукой, пробормотал: «Мне что» – и спрятался в толпу.

Послышался чей-то тяжелый вздох.

– Прощайте, господа, – я объявил вам свою волю, и как по лестнице не влезете на небо, так и волю мою не достанете. Петр Иванович, ваш новый управляющий, исполнит мое распоряжение. Убьете его – другой его заменит.

Я помолчал и, угрюмо отчеканивая слова, кончил:

– Выгон, который до сих пор я отдавал вам даром, как только придет весна, будет вспахан.

– Что ж мы будем делать без него? Где скотину будем пасти? – раздался жесткий вызывающий голос Ивана Евдокимова, одного из приговоренных мною.

Он, очевидно, совершенно не верил в возможность его выселения.

– Этот выгон, – настойчиво повторил я, – с первым весенним днем Петр Иванович начнет пахать и будет пахать до тех пор, пока ваши уполномоченные не привезут от меня приказа прекратить пашню. Уполномоченные же ваши получат приказание от меня, когда привезут известие, что Чичков, Евдокимов, Кисин, Анисимов и Сергей оставили навсегда вашу деревню. Прощайте, я уезжаю в город, и до лета вы меня не увидите.

При гробовом молчании я сел в сани и уехал в усадьбу.

Короткий декабрьский день подходил к концу, на белом снеге ярче подчеркивались лиловые тона леса, из ущелий ползли тяжелые тучи, голый лес завывал, и бушевала сильнее вьюга, вырываясь там дальше на простор полей.

Такой заброшенной и сиротливой казалась вся эта Кня-

зевка, эти люди, стоявшие предо мной на морозе, гнувшиеся под леденящим дыханием зимы, моих слов...

Вечером Петр Иванович, расхаживая по кабинету, самодовольно потирал руки и говорил с тем достоинством, с каким говорят или хотят говорить с опекаемыми:

– Ну, теперь главное... твердость... авторитет... теперь... э... – он важно складывал колечком губы, пыжился и осматривал внимательно, пытливо меня, – теперь шутки плохие выйдут, если мы опять уступим.

– Не уступим.

– Вы, конечно, в город уедете, а я ведь здесь останусь – убьют.

– Я вам на три года передал уже свои права.

– Без этого, конечно, я и не взялся бы.

Заглянул Родивон Керов, уже сдружившийся с Петром Ивановичем.

– Ну что, Родивон? – весело, возбужденно спрашивал его Петр Иванович, – убьют нас с тобой?

– Но-о...

– Ну, не говори...

– Поплачем да и начнем помаленьку тискать тех-то, недружков твоих. Не пропадать же всем из-за них.

– Недружки они не мои, а ваши, – поправил я.

– Да ведь видишь, – глупы, – их же жалеем.

Утром рано на другой день я уже выезжал в город на всю зиму с неясной утешительной злорадной мыслью: вот, де-

сказать, думали, что буду вам всю жизнь делать добро и нельзя  
меня довести до зла... так... вот... довели...

## II

До приискания места я с семьей поселился в губернском городе той губернии, где было мое имение.

Губернское общество приняло нас с распростертыми объятиями.

Меня журили за панибратство с крестьянами, за попустительство, но журили ласково, любя, и радовались как тому, что Чеботаев мне дал такого управляющего, как Иванов, так и тому, что я опять принимаюсь за службу.

Измерзнувший, исхолодавший душой, сбитый с толку, я рад был ласке, теплу.

– Все, что ни делается – к лучшему, – утешали меня, – вы человек городской, человек инициативы, а Чеботаев другой человек, – человек деревни, устоев.

Чеботаев вдруг как-то выдвинулся всей моей историей, и о нем заговорили.

– Замечательный и именно тем, что ничего в нем нет там нового, неиспробованного, – это сам устой, сама скромность и чистота.

И Чеботаеву противопоставляли Проскурина со всей его партией.

Проскурин, богатый помещик, лет тридцати пяти, из улан, был уездным предводителем и центром своей партии. И глава и партия, лихие кавалеристы в отставке, умели и кутить

в своем кругу, умели и дружно стоять друг за друга на дворянских земских собраниях. Друг другу они говорили «ты», строго соблюдали между собой свой «лыцарский устав», но в отношении остального общества держали себя, как бог на душу положит.

Сами себя они считали и богатыми, и воспитанными, и, может быть, даже образованными. В действительности же были людьми, в сущности, уже разоренными, кроме Проскурина, – малограмотными, по существу грубыми и в значительной степени неразборчивыми в средствах при достижении цели.

Но в смысле партийной борьбы, умения сажать в чернильницу, они смело могли бы дать любым парламентским деятелям Европы и Америки семьдесят пять очков вперед.

Самый способ, с помощью которого Проскурин выдвинулся в предводители, уже заслуживал внимания.

В уезде с времен Екатерины II проживали мелкопоместные дворяне с майоратными участками в шестьдесят десятин.

Дворяне эти, за ничтожным исключением выбивавшихся «в люди», влачили жизнь худшую даже, чем крестьяне. Землю свою задаром сдавали в аренду, а сами нищенствовали.

И вот однажды, во время выборов, толпы этих нищих во фраках и нитяных перчатках наводнили залы дворянского дома и избрали Проскурина своим уездным предводителем. Из крупноземельных дворян уезда часть не явилась, а про-

тестующие оказались в таком меньшинстве, что ни о каком протесте не могло быть и речи.

Положение Проскурина было обеспечено теперь и в земстве – как благодаря этим же мелкопоместным, так и тому, что друзья Проскурина, как и он сам, владели хотя и заложёнными и перезаложёнными, но крупными поместьями, а, следовательно, по новому уставу преобразованного земства, были без выбора членами земского собрания.

Таким образом Проскурин с своей партией являлся полным хозяином своего уезда. И действительно: членами управы были выбившиеся в люди из мелкопоместных, председателем был разорившийся старичок из своих, с которым Проскурин обходился фамильярно – то грубо, то пренебрежительно снисходительно.

Но на губернских собраниях роль Проскурина и его партии ослаблялась главным образом нашим с Чеботаевым уездом и соседним с нами.

В обоих этих уездах дворянства было еще много и такого сплоченного, что соседний, например, с нами уезд иначе и не называли как «спасовым согласием».

Душой этого соседнего уезда был живший в губернском городе член губернского земства Николай Иванович Броничев.

Очень энергичный, дельный, умный, безукоризненно честный, Николай Иванович по натуре своей представлял из себя крупную силу.

Среднего роста, изящный, всегда элегантно одетый всегда доброжелательный и ласковый, с прекрасными манерами, из старинной дворянской семьи Николай Иванович мог бы занять и более высокую роль в губернии. Но он добровольно отказался от всякой другой и стал зато центром, душой своего уезда.

И уезд его, являясь на собрания, представлял из себя, действительно, сплоченную сильную партию, с заранее выработанной программой по всем текущим вопросам.

Такой же, как Николай Иванович, силой становился в своем уезде Чеботаев. Но в то время, как уезд Николая Ивановича был уже дисциплинирован, уезд Чеботаева требовал еще большой работы. Во главе уезда все еще стояла старая партия с старым предводителем дворянства, за которым числилось две большие заслуги: он был предводителем в тот период, когда никто им не желал быть, в период, который называли «пребыванием дворянства в пустыне»; и вторая заслуга та, что старый предводитель все свое состояние прожил на предводительство. Но были и недостатки, – некоторая халатность, кумовство, и, наконец, это был человек уже старый, без энергии, а наступали новые времена, когда роль предводителя могла стать и более ответственной.

Эти новые времена уже чувствовались.

Дворянский банк уже открыл свои действия и своими широкими ссудами прямо-таки спас оставшееся еще дворянство по крайней мере на первое время от такого же поголов-



ного разорения, какому подверглись шестьдесят-семьдесят процентов уже разорившихся дворян. Еще более существенным в смысле влияния на жизнь являлись преобразование земства и предполагавшийся институт земских начальников. Благодаря тому и другому в высшей степени увеличивалось как значение дворянства вообще, так и предводителей в особенности.

Понятно поэтому, с каким нетерпением ожидалось выборы на очередном дворянском собрании, долженствовавшем быть как раз в эту зиму.

Особенно волновали общество сенсационные слухи о том, что Проскурин будет баллотироваться в губернские предводители.

И как ни дико это казалось с одной стороны, с другой – и невероятного ничего не было, – все зависело от того, как разделятся голоса нашего уезда: восторжествует Чеботаев, – Проскурин в меньшинстве; останется прежний, – Проскурин проскочит.

Ввиду такого положения дела благожелательный элемент дворянства решил просить старого, очень авторитетного предводителя дворянства с незапятнанным именем остаться еще на трехлетие. Все, конечно, понимали, что предводитель очень уж стар и болезнен, числился бы он предводителем только на бумаге, но это все-таки был бы лучший исход, чем риск получить Проскурина.

Слабой же стороной такого проекта было то, что Проску-

рин как предводитель уезда, первого по счету, являлся бы в случае смерти заместителем старого предводителя.

Конечно, Проскурин, если бы был корректен, должен был бы немедленно собрать экстренное собрание для новых выборов, но в корректность Проскурина плохо верили и думали, что он предпочтет второй выход, предоставленный ему законом, – остаться заместителем до следующего очередного собрания.

Уже за несколько дней до выборов все гостиницы были переполнены съезжавшимися на выборы дворянами.

Они прибывали с каждым поездом, и вереницы ползущих по улицам извозчичьих санок развозили их по городу.

Они ехали, и их позы, выражения, взгляды – все говорило, что мыслью они еще там, в своих деревнях, среди всех дел своих деревенских: сдачи работ, земель, продажи леса, организации разных подготовительных работ для весенних посевов.

Но в гостиницах начиналось уже другое. В темных коридорах бегали озабоченные лакеи, и то и дело растворялись двери номеров, обрисовывались фигуры без сюртука, в подтяжках и раздавался громкий оклик отца командира:

– Человек!

Закурзлые деревенские медведи мало-помалу выползали из своих деревенских шкур: умывались, стриглись, брились и преобразовывались кое-как в городских, правда, с довольно помятыми платьями интеллигентов.

Но в их номерах по-прежнему царил характерный затхлый запах от всех этих дох, полушубков и душегреек, грязного белья, от недоеденной индейки в дорожной корзинке.

Принарядившись, приехавшие занимались обычными визитами: губернскому предводителю, губернатору, вице-губернатору, городским знакомым, друг другу.

Помимо визитов, были и дела – свои частные, большею частью денежные, по части займов. Были и общественные – по поводу предстоящего собрания.

Каждая партия своего уезда собиралась отдельно, каждая в своем месте.

Партия Проскурина собиралась днем в богатых, – украшенных портретами предков в высоких воротниках, – апартаментов Проскурина, а после театра в отдельных кабинетах недавно отстроенного ресторана с электричеством, с новинками и ценами петербургских ресторанов.

Чеботаев со своим уездом поселился в одной из самых скромных гостиниц.

Собирались они, и у меня, и в своей гостинице, за скромной едой, и у Николая Ивановича.

Чеботаев, сперва упорно отказывавшийся от баллотировки, убедившись, что, вероятно, большинство за ним, начал сдаваться, и мы радостно говорили:

– Пойдет! Куда он от нас денется! Силой потащим!

Чеботаев совершенно искренне говорил, что не хотел бы баллотироваться. Мало того, что не хотел, он чувствовал се-

бя совершенно подавленным. Он говорил мне:

– Я теперь живу тихо и мирно и совершенно спокоен в том отношении, что я – не достояние всех, что ко мне, в мою жизнь, в мою деятельность не ворвется никто непрошенный, не изобразит все по-своему и все перевернет и даже не по злобе, а так, потому что что-то изобразилось там в его голове, ну и валяй... Да вы думаете, эти-то наши дворяне умеют ценить? Мой отец пять трехлетий просидел и что же? Человек сам отказался, – уговорили, а когда дал согласие, прокатили на вороних... Отца тут же в предводительском кресле удар хватил, тут и умер... Уложили его в гроб, тогда опять: «Вот истинный дворянин был! Хоронить его с такой помпой, какой еще не было! Портрет повесить!» И хоронили и портрет повесили... Я не верю их искренности, дружбе: изобразились они, излукавились уж очень... Проскурин... И таких большинство... Некоторые из дворян просят меня баллотироваться в губернские предводители... Это уж прямо подвох...

И жена Чеботаева так смотрела и вообще усиленно отговаривала мужа от всяких баллотировок.

Минутами, среди всех этих сплетен, среди мрачных лиц заговорщиков проскуринской партии, затевавших что-то, действительно, как-то терялась почва под ногами и хотелось быть подальше от всего этого.

Чувствовалось как-то, что попадись только в руки этих молодцов, девиз которых был: «Кто не с нами, тот против

нас, и кто против, с тем война, не разбирая средств».

Между прочим, была объявлена война и губернатору...

Вот по какому делу.

Один из уездных предводителей дворянства Новиков, приятель Проскурина, был предан суду по обвинению в разного рода некрасивых преступлениях по службе: тут были и побои и злоупотребления. Дело доходило до сената, и сенат утвердил обвинительный приговор Новикова. Но партия Новикова была очень сильна в уезде, и как только кончилось судбище, Новикова опять выбрали в предводители.

Губернатор на том основании, что осужденный Новиков лишился по закону права выбора, избрание Новикова не утвердил.

Наша партия и партия Николая Ивановича по этому поводу были целиком на стороне губернатора, но партии Новикова и Проскурина метали громы, угрожали губернатору, вышучивая его и распуская о нем всякие сплетни.

Сплетни и шутки были грубые, плоские, и люди эти с цинизмом врывались в самую святая святых человеческих отношений.

Всегда в корсете, скрадывавшем его плотную фигуру, с английским пробором, с изнеженными женскими манерами, задорный, надменный и нервный Проскурин говорил презрительно:

– Я покажу и губернатору и его прихвостням их место: разделятся, голубчики, рыдая, но расстанутся, будут пом-

нить.

Щеголеватые члены проскуринской партии готовились, очевидно, к чему-то и молча, с презрительным высокомерием покручивали свои холеные усы, стоя во время антрактов в театре у барьера первого ряда.

Так страстно ожидавшийся день выборов настал.

Дворянский дом представлял необычайное возбуждение.

Швейцары в полных формах, вешалки, заваленные шубами, настезь раскрытые двери налево, в помещение хозяина дома – губернского предводителя, и направо, в залы собрания и буфетные комнаты.

И везде, во всех комнатах стоял гул от говора большой толпы людей в самых разнообразных мундирах. Но большинство из них были дворянские: с красными воротниками, красными обшлагами на рукавах.

Шитье некоторых из этих мундиров имело странный заношенный вид, и владелец такого мундира выглядел и сам какой-то мумией прежних времен: это родовые мундиры от дедов и прадедов. Мундиры, на которых ни ордена, ни шитья.

– Я и деды мои, – говорил его хозяин, – с самого почина в этом мундире и, как видите, ни на выборах, ни по казенной службе не преуспевали. Всегда только рядовые своего сословия.

Но много было и заслуженных.

На боковых скамьях центральной избирательной залы за-

седали почтенные старцы в лентах и звездах, с грудью, украшенной всевозможными орденами.

Пред этими старцами как-то стихало бушующее море страстей. Проходя мимо, заговорщики обрывались, почти-тельно раскланивались и уходили в другие комнаты.

Проскурин со своими стоял у красного большого стола и презрительно шурился на всю эту разношерстую толпу.

Его мелкопоместные во фраках резко отличались от остальных и робкой толпой жались в углу у крайнего окна.

Некоторые из дворян уже сидели. Это из тех робких, обросших и мохнатых медведей, которые выползли из своих берлог и теперь не знали, куда девать свои руки и ноги.

– Да идите, – крикнет такому какой-нибудь член его партии.

– Нет, – махнет безнадежно рукой такой медведь, – я уж тут...

И эта толпа, и мундир с воротником, который, как клещ, жмет, и этот скользкий паркет: вот, бог даст, доберется опять до своих лесных трущоб и зашагает снова через пни и валенник: там не упадешь, там есть за что ухватиться. И если бы не нужда, если бы не предстоящие назначения в земские начальники, не поехал бы он и на выборы, ни с визитами к губернатору, к губернскому предводителю, мало думал бы и о том, кого там выберут в предводители. А теперь со всем этим приходилось считаться – и очень, и сидевшие на боковых скамьях старцы удовлетворенно говорили, что по ожив-

лению собрание это напоминает им давно уже забытые времена.

– Господа, пора ехать за губернатором.

На мгновение все стихло, и опять по комнатам понесся гул голосов.

Николай Иванович, возбужденный, помолодевший, изящный и легкий, весело здоровается со мной и подмигивает на Чеботаева.

– Волнуется... привыкнет...

Чеботаев, бледный, вытянутый, молча, обводя помертвелыми глазами залы, ходит с своим плотным, угрюмым приятелем Нащокиным.

Нащокин с специальным образованием, прекрасный хозяин, с густой шевелюрой, с которой так и сыплется перхоть, белым налетом усыпавшая уже плечи его потемневшего мундира.

– Пойдем: сообщу вам интересную новость.

И Николай Иванович берет меня под руку, и мы подходим к Чеботаеву.

Он сообщает, что дела Проскурина неожиданно оказались очень неважными. Уверенный в своем уездном кресле, Проскурин весь сосредоточился на борьбе за губернское и выписал мелкопоместных в ограниченном количестве.

Николай Иванович снисходительно улыбается и поясняет:

– Расход меньше: каждый такой рублей сто стоит... А тут вдруг, ввиду новых времен, нахлынуло столько врагов, что,



пожалуй, в уездные проскочит Корин.

– Ну, тоже находка, – фыркает Чеботаев.

– Да, положим, так: и бездарный и злобный какой-то...

– Бестактный, – говорит кто-то.

– И все-таки, как переход к очередным делам, лучше

Проскурина...

И Николай Иванович, потирая руки, тихо смеется. Он тихо, ласково говорит:

– Я бы советовал оказать ему поддержку и приобрести таким образом союзника.

– Это конечно, – соглашаемся мы.

– Еще в одном уезде заминка: Васильев запутался так, что ему уже не до предводительства, и, в сущности, ни на ком там еще не остановились. Я бы советовал посадить к ним одного молодого, Бориса Петровича Старкова.

– Да ведь он умрет через год: у него чахотка, – сказал кто-то.

– Ну, не так скоро, – добродушно ответил Николай Иванович, – а человек он порядочный и, как на новом, на нем все помирятся.

Я знал Старкова.

Он только что кончил университет, но выпускного экзамена не держал, потому что заболел легкими, а так как чахотка была в роду у него, то мать настояла, чтобы он бросил экзамены и ехал в Крым.

Из Крыма он приехал на родину, не думая больше об уни-

верситете.

– К чему? – говорил он. – Проскриплю три-четыре года и отправлюсь к праотцам. Гораздо интереснее успеть что-нибудь сделать интересное, полезное в это время.

Единственный сын богатой помещицы, мечтательный, хрупкий, с каким-то безнадежным взглядом он думал не о себе. Он хотел издавать газету.

– Столько интересных общественных вопросов... Ведь у нас застой, полное незнание самих себя, своих сил... Мировые вопросы там решаем, знаем, что делается на конце света, а что делается у себя под носом, в своем уезде, не знаем, и знать не хотим, и не интересуемся.

В самый разгар выборной горячки Старков приезжал и допытывал меня:

– Как вы думаете, пойдет мое дело?

Я слушал его, отвечал и думал, что как не вовремя он всегда умудрится попасть в гости, – как раз тогда, когда или назначено собрание нашей партии, или что-нибудь другое в это время надо делать.

А Старков, больной, ненадежный физически, все гудел своим гортанным баритоном:

– Я так рад, что случай свел нас: вы сразу вызвали во мне всю мою симпатию...

Этого самого Старкова и предлагал теперь Николай Иванович.

Нащокин, все время молча слушавший, вдруг сказал ре-

шительно:

– Так что ж, – так и надо сделать.

– Вы думаете уговорить Старкова? – спросил Николай Иванович.

Нащокин подумал еще и еще решительнее сказал:

– Да, я думаю.

Согласились и все окружавшие нас.

– Ну, что ж, пойдем, значит, уговаривать его? – улыбнулся мне Николай Иванович и ласково потянул за собой.

Мы отправились с ним разыскивать Старкова, а наши, смеясь, кричали нам вдогонку:

– Соблазнитель, совратитель!

Высокого тонкого Старкова не трудно было заметить.

Он стоял у окна и мечтательно смотрел на улицу.

На наши уговоры он сперва отвечал так, как будто он никак не мог оторваться от своих каких-то мечтаний. Он говорил, что не чувствует ни желания, ни способности, что плохо, наконец, верит в живучесть дворянства.

– Фактов нельзя отрицать, – ответил ему Николай Иванович, показывая на залы, – слишком много сделано и будет сделано для дворянства, чтобы сомневаться в том, что оно опять будет жить. Как жить? Для этого и надо, чтобы все порядочное сплотилось, а если один не захочет, другой, то и останутся Проскурины...

Николай Иванович вспомнил, что Проскурин родственник Старкова, и извинился, а Старков ответил:

– Сделайте одолжение, – я ведь сам его вижу, какой он, – что ж, что родственник? Обязанности у человека прежде всего общественные.

Зная слабость Старкова ворковать своим густым баритоном без конца, я перебил его:

– Ну, так вот в силу этих общественных обязанностей.

– Я ведь хотел было газету, – просительно обратился он ко мне.

Я смутился и отвечал:

– Да вот, видите, и меня увлекло течение: очень уж хочется, чтобы порядочные люди во главе стали, – газета у вас не завтра начинается, а там по времени можно ведь подобрать и заместителя себе и газетой заняться.

На хорах показались в это время дамы, и все головы повернулись туда.

И дамы, как и их кавалеры, рассаживались по группам, оживленно разговаривая, кивая сверху на поклоны своих знакомых.

– Не знаю уж и сам, господа, как, – сказал Старков.

– Ну, значит мы знаем, – рассмеялся Николай Иванович и отправился орудовать дело.

Как раз в это время крикнули:

– Губернатор приехал!

И многие бросились к входу.

С нашего места все было так хорошо видно, что мы со Старковым тут и остались.

Немного погодя показался в камергерском мундире губернатор, небольшой, худощавый, с изящными манерами, но уже с трясущейся слегка головой, старик, любезно пожимавший направо и налево руки кланявшимся ему дворянам. . .

Я видел, как с аффектированным уважением почтительно пожал губернатору руку Проскурин. За ним, как складной аршин, согнулся его приятель граф Семенов, пропадавший долго где-то за границей. Затем, с некоторой иронией, но в то же время и очень почтительно, расшаркался другой приятель Проскурина, Бегаров, бывший студент Дерптского университета, с неприятным, с несколькими сабельными ударами, лицом. Бледные рубцы от этих ударов производили впечатление каторжных клейм. Бегарова не любили даже свои за язвительность, жестокость, за его какой-то недворянский шик. Но он был очень богат, охотно ссужал деньгами, хотя об этих деньгах и толковали, что отец Бегарова, новоиспеченный дворянин, нажил их при помощи ссуд. После Бегарова откланялся губернатору Свирский – высокий, красивый, молодой, с черными усами, с небольшими черными глазками, в мундире с иголки. Свирский был тоже из партии Проскурина. Он только что вышел в отставку и был желанным гостем и в семейных домах, где барышни были на возрасте, и в холостых компаниях, где Свирский был не дурак выпить.

Среди партии Проскурина губернатор медленно подвигался вперед, когда вдруг все они, исполнив свой долг вежливости, отхлынули, и перед губернатором сразу образова-

лось в проходе между стеной, с одной стороны, и рядами стульев – с другой, большое пустое пространство.

И в этом пустом пространстве стоял один человек: Новиков.

Когда все мы поняли, в чем дело, было уже поздно. Губернатор не мог миновать Новикова – встреча была неизбежна, и все напряженно ждали, чем все это кончится.

Новиков, блондин, во фраке, с расчесанной надвое бородой, сильный и крепкий, в вызывающей позе стоял и, ждал подходявшего губернатора.

– О, черт его побери, – проговорил тихо кто-то сзади меня, – не хотел бы я быть на месте губернатора.

– Да, – ответил так же тихо другой, – положение, что называется, хуже губернаторского.

Сам губернатор не казался, впрочем, смущенным.

Такой же улыбающийся, с манерами привычного придворного, он подошел к Новикову и протянул ему руку с такой безразлично вежливой физиономией, как будто принимал в это время от кого-нибудь стакан чаю или прошение.

Прищурившись, он улыбался, держа протянутую руку, и голова его слегка тряслась, пока Новиков в ответ, спрятав обе свои руки за спину, отвешивал губернатору, не торопясь, низкий поклон.

– Я вам протягиваю руку, – сказал ласково, спокойно губернатор, когда Новиков выпрямился после поклона.

И так царила тишина в зале, но теперь стало так тихо, точ-

но все вдруг, уже лишённые способности говорить, дышать, думать, могли только смотреть и бессознательно переживать мгновение.

Самое коротенькое мгновение: Новиков как-то растерянно качнулся вбок и протянул свою руку со словами:

– Извините... не заметил...

Мои глаза случайно упали в это время на Проскурина, – он сделал жест, который как бы говорил: «сорвалось».

И все опять пошло своим чередом, все оживо, губернатор шел дальше, раскланивался, жал руки, пока не дошел до красного стола и председательского кресла.

С той же спокойной, изящной манерой он стоял у стола, читая указ об открытии собрания, поздравляя дворян и желая им успешной работы на этом собрании.

Затем губернатор отбыл, и возмущало всех то, что Проскурин же, провожая губернатора, энергичнее других порицал Новикова за то, что именно в дворянском доме он хотел было нанести такое оскорбление губернатору.

Губернатор на это вскользь бросил:

– Я надеюсь, что дворянский дом сумеет снять с себя это пятно.

– Само собой, само собой, ваше превосходительство, – говорил Проскурин.

И, как только губернатор скрылся в подъезде, Проскурин, опять энергичный и уверенный с своей партией, через маленький, коридор исчез на минуту в буфет.

Возвратились они все в общую залу чрез разные двери. Сам Проскурин прошел через арку возле красного стола и, остановившись на виду у всех, стоял и слушал волновавшихся дворян.

– Во всяком случае, – заговорил Николай Иванович и в это время нарочно повернулся лицом к Проскурину, – это нечто столь недостойное, подобного чему не было еще в этом доме.

– Совершенно верно, – надменно ответил Проскурин, – если это оскорбление, но я бы желал выслушать, что скажет сам господин Новиков.

Новиков поднялся с своего места и спокойно сказал:

– Честь этого дома мне так же дорога, как и всякому другому дворянину. Я даю мое дворянское слово, что не имел в виду никакого дурного умысла. Я только был твердо уверен, что после того, что произошло между мной и губернатором, о пожатии рук не могло быть и речи. Уверенный в этом, я и ограничился самым почтительным поклоном, и как только он напомнил мне о своей руке, я в то же мгновение вспомнил и о моей и протянул ее.

Легкий смех пробежал по зале, а Новиков продолжал:

– Самый пустой инцидент, который почему-то хотят раздуть; чтобы покончить с ним и снять всякие, могущие пасть на этот дом обвинения, я предлагаю письменно объяснить губернатору все, как было в действительности... даже извиниться, ну... за свою оплошность, что ли.



Собрание облегченно вздохнуло, приняло предложение Новикова и считало инцидент исчерпанным.

Но через некоторое время какие-то лазутчики, все время, очевидно, доносившие губернатору о том, что происходит в собрании, в свою очередь донесли и собранию, что губернатор рвет и мечет и требует извинения от всего собрания.

Проскурин нетерпеливо, порывисто крикнул:

– Может быть, он захочет нас и в ливреи одеть и в таком виде процессией по улицам идти к нему и кланяться? Слишком маленький крючок придумал, чтобы зацепить на него и потащить все дворянство. Это – дворянство, и оно само знает, в чем его достоинство и как ему держать себя.

Раз Проскурин заговорил о дворянстве и его достоинстве, – это такая почва, на которой всякий подающий голос за честь этого достоинства подкупает всегда симпатию – и порыв Проскурина увлек собрание.

Кричали: «Что, в самом деле, мы не лакеи». Вспоминали разные эпизоды из прежних отношений с губернатором: и тогда-то и тогда оскорбил дворянство губернатор, и тогда-то и тогда простили. Ну, если и неловкость сделал человек и к тому же извинился, то при чем тут собрание.

Даже Чеботаев и Николай Иванович соглашались, говоря о губернаторе:

– Старик немного увлекся, – он откажется.

И Николай Иванович, понижая голос, прибавлял:

– Ведь это сам же Проскурин и подал ему эту мысль оби-

деться – я сам слышал.

– Ах, интриган, – охали мы, с искренним презрением оглядывая надменную фигуру ничем не смущавшегося Проскурина.

Начались выборы.

Проскурин от губернского отказался, и мы торжествовали.

Старый губернский предводитель прошел значительным большинством, но в баллотировочных ящиках оказался кем-то положенный медный пятак.

Никто так и не понял, зачем это было сделано. В доисторические времена, когда исправников выбирало дворянство, то таким, которые уже слишком явно брали взятки, иногда на выборах вместо шаров клали медные деньги.

В данном случае ни о чем подобном не могло быть и речи, – старик предводитель имел такое незапятнанное имя, что когда вынули пятак, то решено было скрыть даже этот факт, чтобы не огорчить старика. Таким образом, если цель этого пятака заключалась в том, чтобы обидеть и заставить отказаться, то она не удалась. Опасность была в другом: при выборе кандидата могли переложить ему избирательных шаров, а то могли и сорвать все собрание, если бы кто-нибудь из дворян вдруг уехал.

Но, наученные опытом, дворяне караулили у входов и, зная, что проскуринская партия будет класть кандидату направо, партия старого предводителя клала налево. И чуть

было не пересолили: кандидат прошел только с пятью головами большинства.

Уездные выборы прошли еще глаже. Наш старый сам отказался, мы из вежливости стали просить его, он опять отказался, тогда мы поблагодарили его, попросили принять от нас обед и выбрали Чеботаева почти единогласно. Прошел и Старков в своем уезде, в уезде же Николая Ивановича само собой все прошло так же гладко.

Даже в уезде Проскурина все сложилось почти так, как мы того желали.

Дело в том, что Проскурин, упавши духом, – как мы думали, – после выборов губернского, а также ввиду малочисленности мелкопоместных, заявил, что не желает больше служить.

Он и вся его партия как-то сразу бросили весь свой задорный тон, и Проскурин добродушным, усталым голосом говорил:

– Если что-нибудь мне интересно, то права: если я буду выбран и на это трехлетие, получу действительного статского. Но для этого надо только, чтобы выборы утвердили, а затем я в тот же день и в отставку подал бы.

Он обратился к своему противнику и сказал:

– Хотите, так поступим: выберите меня предводителем, вас кандидатом, через два дня меня утвердят, я подам в отставку, вы останетесь.

Предложение было принято, и Проскурин, чего еще ни-

когда не бывало раньше, прошел на этот раз единогласно.

– А если он вас надует? – спросили одного молодого дипломата в камер-юнкерском мундире, противника Проскурина.

Дипломат развел руками и ответил:

– Тем хуже для него.

Так и вышло: Проскурин надул.

В последний день собрания кандидат его Корин, из бывших чиновников, мизерный и тщедушный физически, в сообществе нескольких «свидетелей» остановил Проскурина в коридоре и напомнил ему его обещание.

Проскурин, проходя, бросил ему пренебрежительно:

– Я передумал.

– На каком основании? – пискнул было ему вдогонку кандидат.

Проскурин остановился, смерил кандидата уничтожающим взглядом и раздельно сказал:

– Да хотя бы потому, что убедился, что вы не годитесь быть нашим предводителем.

Проскурин ушел, и его партия так хохотала в столовой, что дрожали стекла, а растерянный кандидат говорил своим друзьям:

– Я за то только благодарю бога, что он не наделил меня физической силой, иначе я не удержался бы и дал бы ему пощечину.

На закрытие собрания губернатор не приехал и даже не

отдал визита губернскому предводителю, заявивши ему, что до удовлетворения он не может быть в дворянском доме.

– В таком случае и я, ваше превосходительство, лишаюсь чести бывать у вас, – ответил ему старик.

И опять Проскурин торжествовал. И про него говорили:

– Нахал, интриган, но талантлив!

### III

Сейчас же после выборов и обеда в честь старого предводителя дворянство разъехалось, и городская жизнь вошла в свою колею.

Это сразу почувствовалось на ближайшем же губернаторском журфиксе<sup>1</sup>.

В комнатах губернаторской квартиры царила обычная какая-то зловещая тишина. В полусвете абажуров гостиных, кабинета тонули мебель, ковры, картины. Проходили беззвучно все те же знакомые фигуры; торопливо, но бесшумно проносили лакеи подносы с печеньями, чаем, фруктами; из игральной методично и сонно несло: «пики», «пас», «трефы», а в большой гостиной на первый взгляд казалось, что и хозяйка и все ее гости спали.

И если не заснули, то только потому, что появилась Дарья Ивановна Просова, жена одного видного деятеля.

Сам Просов пользовался большим уважением, и из-за него и супруге его прощали ее невоспитанность и эксцентричность.

Говорили:

– Человек таких способностей, такого образования, и вся карьера разбита этой ужасной женитьбой.

---

<sup>1</sup> определенный день в неделю для приема гостей (от *франц.* jour fixe).

Все несчастье Дарьи Ивановны заключалось в том, что она хотела во что бы то ни стало казаться дамой большого света. Она не знала, например, французского языка, но постоянно вставляла в свою речь французские словечки, перевирая их смысл и произношение. Отсутствие манер, знание этикета она возмещала развязностью.

Дарья Ивановна вошла быстро, энергично и так твердо, что, несмотря на мягкие ковры, слышался топот ее шагов, а шелковая юбка ее так шуршала, как будто их было десять на ней. Она сразу огорошила:

– Какой фурор, – я, кажется, последняя приехала.

Она хотела сказать: *horreur*<sup>2</sup>.

Хозяйка мучительно вскинула куда-то к потолку глаза, все гости сделали такие движения, как будто каждый собрался лезть под тот стул, на котором сидел, а довольная собой Дарья Ивановна громко и звучно, заглядывая постоянно в стенное зеркало, затрещала о своей последней поездке с мужем.

Нервная и болезненная губернаторша, не выносившая никакого крика и шума, совсем съежилась в своем кресле и, казалось, вот-вот отдаст богу душу.

Губернатор скучал за всех и только занимался тем, что каждого нового гостя спешил сплавить то в гостиную жены, то в игральную, то в маленькие гостиные, где в уголках группами приютились менее сановные и более молодые гости.

В кабинете губернатора остались трое: губернатор, Дени-

---

<sup>2</sup> ужас (франц.).

сов, Сергей Павлович, и я.

Денисов, лет под тридцать, молодой человек с хорошим состоянием, жил вне всяких наших дворянских партий и слыл за оригинала и буку.

Его черные большие глаза смотрели всегда угрюмо, исподлобья; он занимался археологией и в каком-то отдаленном будущем мечтал о радикальном переустройстве жизни на почве равенства и братства.

Но к действительной жизни Денисов относился не ровно, то принимая ее, как она есть, обнаруживая терпимость, доходившую даже до попустительства, то становился вдруг требовательным и строгим.

В общем очень добрый, очень порядочный, Денисов был неуравновешенный, неудовлетворенный собою человек. Он постоянно рылся в себе, сомневался, мучил себя, но как-то все это сводилось к мелочам.

Губернатор любил Денисова, называл его «человек будущего», «enfant terrible»<sup>3</sup> и позволял ему многое.

Сегодня Денисов был угрюмее обыкновенного, сидел и озабоченно грыз свою бородку, подстриженную à la Henri IV, а губернатор, полулежа на кресле, с закинутыми за голову руками, дразнил его:

– Ну-с, человек будущего, что же еще вас огорчает?

Денисов сдвинул брови.

– То, что я здесь сию...

---

<sup>3</sup> сорванец (франц.).



– Как вам нравится? – посмотрел на меня губернатор.

– ... и ничего не делаю, – кончил Денисов, не обращая внимания на вставку губернатора.

Донесся голос Дарьи Ивановны.

– Ах! – тоскливо вздохнул или зевнул губернатор, – что о ней вы скажете?

Денисов стал еще угрюмее и сказал:

– Дарья Ивановна очень добрый человек, это знают те бедные, которым она помогает, и те больные, за которыми она ходит.

– Я предпочитаю не пользоваться ее добротой и быть ни бедным, ни больным, – бросил губернатор.

Наступило молчание.

– Ну, а насчет выборов, – начал опять губернатор и, обращаясь ко мне, показывая лениво на Денисова, сказал: – Я хочу его непременно сегодня рассердить. Что вы скажете, например, о предводительстве Старкова?

– Ничего не скажу, – ответил Денисов. Губернатор пожал плечами и заговорил:

– Их три покойника: отец Старкова, брат его и брат его жены, – славились своей феноменальной глупостью... Уже там было вырождение и... жажда общественной деятельности. Таких тогда еще не выбирали в предводители, и они устроили бюро справок. Отец вот этого Проскурина, – десять таких, как теперешний, – зашел как-то к ним в бюро: все трое стояли за прилавком. «Сколько стоит справка?» –

«Двадцать копеек». – «Вот вам двадцать копеек, и я навожу справку: кто из вас троих глупее?» Это, заметьте, был единственный двугривенный, который они заработали. Денисов мрачно сказал:

– Я не знал отца Старкова, но молодой Старков порядочный и не глупый человек.

– А я не знаю, – заметил губернатор, – молодого Старкова, не сомневаюсь, конечно, в его порядочности, но очень рад и за себя и за него, что он бросил мысль о газете.

– Почему за себя?

– Потому что избавлен от неприятности отказать ему в разрешении...

– Это почему? – совсем окрылся Денисов. – На том основании, что вы имеете право запретить? Небольшое основание...

– Вы вот в вашем там будущем и разрешайте.

Денисов раздраженно встал:

– Не сомневаюсь, что и в настоящем вы так же поступили бы, потому что считаю вас порядочным человеком...

– Как вам нравится? – обратился ко мне губернатор.

– ...а теперь прошу вашего позволения уйти к Марье Павловне.

Губернатор махнул рукой.

– Идите: вы несносны сегодня.

Денисов ушел, а губернатор, проводя рукой по лицу, сказал мне:

– Как я завидую вам.

– В чем?

– Вы уедете отсюда.

И он протянул мне руку ладонью вверх. В это время вошел изящный гвардейский офицер, и губернатор, лениво поднявшись, сказал:

– Bonsoir<sup>4</sup>.

И, взяв под руку гостя, лениво прошел с ним до дверей гостиной:

– Marie! Prince Anatole<sup>5</sup>.

Гость прошел к хозяйке, а губернатор возвратился навстречу новому гостю – председателю суда – Владимиру Ивановичу Павлову.

Павлов был высокий, крепкий старик, с чертами лица, точно выбитыми из стали. Его большие красивые глаза смотрели в упор: серьезно и твердо. Павлов пользовался громадным уважением в обществе, и даже губернатор, любивший с кондачка относиться ко всем, Павлова уважал.

Этого нельзя было сплавить, и старики чинно уселись друг перед другом, а я ушел в другие комнаты.

В одной из маленьких гостиных сидела окруженная поклонниками Софья Николаевна Семенютина, хорошенькая вдова, очень интересовавшаяся выборами и все время выборов проводшая на хорах дворянского дома.

---

<sup>4</sup> Добрый вечер (*франц.*).

<sup>5</sup> Мари! Князь Анатолий (*франц.*).

Увидев меня, она рассмеялась и сказала:

– Несчастный, он совсем спит.

Я протер глаза и сказал:

– Да.

– Садитесь лучше к нам, – будем скучать вместе.

Она показала на окружавших ее кавалеров и сказала:

– Мы бы, конечно, не скучали, если бы ну хоть по душе поговорили об Дарье Ивановне, – да вот... не позволяет...

Она показала глазами на Денисова. А Денисов сидел, опершись на колени, и, не поднимая головы, ответил:

– Я думаю, что если бы Дарья Ивановна вдруг исчезла, нам окончательно не о чем бы было говорить.

– О, да, да, – рассмеялась Софья Николаевна, подняв вверх свои красивые руки, – и не надо даже делать таких страшных предположений. Ну-с, на этот раз, так и быть, оставим Дарью Ивановну и поговорим о выборах. Нет, каков Проскурин?

– Талантливый человек, – ответил молодой, с глупой физиономией господин, одетый с иголки.

Его фамилия была Алферов. Отец его, богатый помещик, незадолго до этого скоропостижно умер, и Алферов бросил военную службу, выйдя штык-юнкером в отставку. Он при жизни был в ссоре с отцом и нищенствовал в полку. Думали, что он начнет кутить. Но он оказался очень практичным и экономным. Говорили даже, что он занимается ростовщицеством. В купеческих кружках, несмотря на его молодость,

относились к нему с большим уважением.

В ответ ему Софья Николаевна сказала:

– Стыдно, стыдно. После этого всякий нахал, всякий не стесняющийся своей непорядочности – талантлив.

Совершенно неожиданно Денисов поддержал Алферова и стал защищать Проскурина.

– Вы, вы?! – накинулась на него Софья Николаевна.

– Да, я, – упрямо ответил Денисов. Поднялся горячий спор.

Вошла моя жена и шепнула мне:

– Не пора ли нам?

Софья Николаевна остановилась на полуслове и спросила:

– А разве уже можно? В таком случае и я...

– И я, и я... – подхватили несколько голосов.

– Господа, это выйдет демонстрация, – запротестовала Софья Николаевна, – я сказала первая и извольте соблюдать приличие. Что?

И она обвела всех своими немного близорукими смеющимися глазами и рассмеялась.

– О, боже мой, как все это глупо, приеду домой и сейчас же приму душевную ванну, – говорила она, прощаясь со всеми.

– Шекспира? – спросил я ее, зная ее любовь к Шекспиру.

– Его, – кивнула она, проходя в большую гостиную.

А я, стоя в дверях, наблюдал, как вдруг преобразилась вся она, серьезная не по летам; с достоинством и проникнутая в

то же время как бы невольным уважением, она подошла к губернаторше и сделала ей непринужденный красивый, немного девичий реверанс.

Губернаторша облегченно спросила ее:

– Уже? – И, как бы боясь, что гостя передумает, дружески кивнула ей головой: – Не забываете.

И потянулись дни за днями с журфиксами, визитами, собраниями и концертами, скучные и утомительные дни провинциального high life'a<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> высшего света (англ.).

## IV

Один фотограф, у которого я снимался, живой и интересный хохол, встретив как-то, спросил меня:

– Вы сегодня вечером что делаете?

– В театре.

– Не заедете ли после театра ко мне? Соберется кой-кто, петь будем, плясать, играть, будут и умники. В самом деле, что вам, приезжайте.

Мне, скучавшему, как только может человек скучать, улыбнулось это предложение, и я после театра поехал.

Я приехал в разгаре вечера.

В накуренном воздухе маленьких комнат, с дешевой мебелью и фотографиями по стенам, тускло горели лампы и стоял гул от оживленного говора.

Я остановился у дверей, и первое, что резко бросилось в глаза: простые будничные костюмы и оживленные, праздничные лица гостей. Говорили, громко смеялись. Я прислушивался к этому смеху с удовольствием, потому что давно уже не слышал такого веселого, беззаботного смеха.

Мое появление ничего не нарушило. Только какой-то седоватый веселый господин, собиравшийся что-то сказать, остановился на мгновение с поднятой рукой и с дружелюбным любопытством осмотрел меня, да хозяин крикнул, увидев:

– Ну, вот и отлично, как раз вовремя: сейчас пение начнется, а пока я вас успею еще познакомить.

И он повел меня по комнатам: Седоватый господин, немного сутуловатый, с добрыми женскими глазами, добродушно сказал мне:

– Я уже слышал о вас: очень рад познакомиться.

И мне вдруг показалось, что я давным-давно уже знаком с ним.

– Это кто? – спросил я, отойдя, у хозяина.

– Судебный следователь из евреев, Яков Львович Абрамсон, – шепнул мне хозяин, – мог бы давно быть и председателем, если бы выкрестился, но не хочет: очень хороший человек, его все очень любят.

По очереди, проходя через маленькую комнату, я пожал руку господину средних лет, с умным, спокойным и твердым взглядом, около которого сидело несколько молодых людей, и один из них, – с бледной, некрасивой и изможденной физиономией, но с прекрасными глазами, которые тем рельефнее выдвигались и красотой своей освещали все лицо, – что-то горячо говорил.

Молодой человек был одет более чем небрежно даже для этого общества: прорванный пиджак и ситцевая рубаха были далеко не первой свежести.

– Василий Иванович Некрасов, – шепнул мне хозяин, указывая на господина средних лет, – присяжный поверенный, умница, был несколько лет тому назад председателем зем-



ской управы, – слетел в двадцать четыре часа.

– За что?

– Да, собственно, повод – ерунда, там, в пиджаке приехал к губернатору, – отношения раньше были натянуты.

– А этот молодой человек в грязной рубаше, который напоминает мне время нигилистов?

– Это от бедности... Это самоучка из босяков, он пишет в газете: крошечные такие рассказы... Ему предсказывают большую будущность.

Проходя дальше, я увидел председателя суда, Владимира Ивановича Павлова, и удивился неожиданной встрече.

Большой, мрачный, он сидел такой же угрюмый, как и на губернаторских журфиксах, внимательно слушая какого-то средних лет господина, в синих очках, с светлой бородкой клином.

– Это кто с Павловым сидит?

– Редактор нашей газеты.

– Какое разнообразное, однако, у вас общество.

– Да, спасибо, не брезгают моей хатой, – сказал хозяин.

Началось пение.

Молодой офицер мягким приятным басом запел «Капра-ла».

Я стоял у дверей и слушал.

Офицер пел выразительно, красиво и с чувством.

И вся его фигура, статная, с открытым, доверчивым лицом, голубыми глазами, очень подходила к песне.

После офицера пела барышня, нарядная, изящная. Она училась в консерватории и приехала теперь домой.

У нее было колоратурное сопрано, и голосок ее звенел нежно. Когда она делала свои трели, казалось, комната наполнялась мягким звоном серебряных колокольчиков.

Ее заставили несколько раз спеть.

– Кто она? – спросил я подошедшего хозяина.

– Норова, дочь одного бедного еврея, лавочку имеет.

– У нее прекрасный голосок, – сказал я, – но вряд ли годится для большой сцены.

– На маленькой будет петь.

Еще одна барышня пела, и у этой был свежий, выразительный голос.

После пения играли на скрипке, – соло, дуэт с роялем, рояль соло.

И игра была прекрасная.

Я, житель юга, привык к музыке, пению и в своем обществе скучал за этим.

После музыки хозяин позвал закусить чем бог послал. Бог послал немного: две селедки, блюдо жареной говядины, грудю хлеба, две бутылки водки и батарею бутылок пива.

– А после ужина, когда прочистятся голоса, – говорил хозяин, – мы хором хватим.

После ужина хватили хором и пели долго и много.

Когда я проходил мимо группы молодых людей, сидевших за столиком и пивших пиво, меня окликнули по имени и от-

честву.

– Не узнаете? – спросил окликнувший тихим сиплым голосом, ласково улыбаясь.

Я напряг свою память: где я видел эту застенчивую, сутуловатую фигурку, смотрел в эти черные глаза, слышал этот тихий сиплый голос?

– Вы статистик, Петр Николаевич? Извините, фамилию забыл.

– Антонов, он самый, присаживайтесь, позвольте познакомиться: сотрудники местной газеты.

Петр Николаевич года два назад по делам статистики заезжал ко мне в имение.

Принял я было его тогда очень плохо.

Он вошел прямо в кабинет, а я, думая, что это какой-нибудь писарь с окладными листами, сухо спросил его:

– Отчего вы в контору не прошли?

– Извините, – весело ответил Петр Николаевич и уже пошел, когда я догадался спросить его, кто он.

Петр Николаевич прожил у нас тогда несколько дней, и в конце концов мы расстались с ним в самых лучших отношениях.

Я очень обрадовался ему. Его товарищи скоро ушли, и я, так как деревня каким-то непереваренным колом постоянно торчала во мне, на вопрос, как идут мои дела в деревне, рассказал Антонову о всех своих злоключениях.

Антонов, согнувшись, внимательно слушал меня и, когда

я закончил, задумчиво сказал:

– Какой богатый материал... Если бы вы могли написать так, как рассказали... Отчего бы, в самом деле, вам все это не описать?

– Для чего?

– Напечатать.

– Собственно, кому это интересно?

– Интересна здесь деревня, ваши отношения... Насколько я понял, вы ведь вперед, так сказать, предугадали реформу и были... добровольным и первым земским начальником... Нет, безусловно интересно и своевременно...

– Если печатать, то где же?

– В «Русской мысли», в «Вестнике Европы».

– Шутка сказать!

– Вы напишите и дайте мне.

– А вы какое отношение имеете к этому?

– Я тоже пишу.

– Что?

– Очерки, рассказы.

– Вы где пишете?

– Прежде писал в «Отечественных записках», теперь в «Русской мысли».

– Вы и тогда, когда у меня были, тоже писали?

– Да.

– Отчего же вы ничего не сказали тогда?

– Не пришлось как-то.

– Вы что написали?

– «Максим-самоучка», «Дневник учителя», несколько рассказов. – Он назвал свой псевдоним. – Читали?

– Нет, – отвечал я смущенно, – не успел... Непременно прочту...

Вечер подходил к концу. Где-то в крайней комнате все еще пели хором, но нежные мелодичные звуки как будто все ленивее пробивались сквозь накуренный полумрак комнат. Догорали свечи, и огонь их казался теперь красным. Уже потухло несколько ламп.

– Ну, что ж, пора и домой, – поднялся Антонов, – надо бы нам где-нибудь увидеться еще.

– Очень рад, – сказал я, – если позволите, я приеду к вам.

К нам подошел в это время Абрамсон и, добродушно смеясь, сказал мне:

– Собственно, и я очень рад бы был, если бы наше знакомство не ограничилось этим и вы посетили бы мой салон, весь город бывает.

Абрамсон засмеялся, а я записал и его адрес.

На другой день я был и у Антонова и у Абрамсона.

Антонова я дома не застал, а у Абрамсона очень долго звонил, пока дверь вдруг не отворил сам хозяин и весело закричал:

– А-а! Пожалуйста, пожалуйста, очень рад, колокольчик не звонит, да и дверь никогда у нас не затворяется.

Он ввел меня в свой маленький кабинет и показал рукой

на белую, известкой выкрашенную стену, на которой на листе крупно было написано: «О старости и тому подобных неприятных вещах просят не говорить в этом доме».

Он дождался, пока я прочел, и весело расхохотался.

– Понимаете, необходимо это, – он показал на свою сиди-ну, – а то ведь есть такие нахалы, что, если не предупредить, как раз и ляпнут перед кем не надо.

Я вспомнил, что на вечере Яков Львович все время вертелся около дам.

– Вы женаты?

– Все никак не могу выбрать... Не хотите ли чаю, пойдем в столовую.

Столовая – маленькая комната, с крошечным столиком и другой надписью на стене. Крупно было написано: «конфеты, закуски, вина» и мелко «в магазине Иванова».

Когда мы перешли в третью и последнюю комнатку, – кушетка для спанья стояла в кабинете, – Яков Львович сказал:

– Ну, что ж, хорош салон? И действительно, ведь весь город бывает, за исключением вашего кружка... Ах, потеха. В последний раз была у меня Марья Николаевна Петипа, – видели вы ее на сцене?

– Ну, конечно.

– Я ей: салон, салон, ну, она и вообразила себе в самом деле: приехала в бальном платье, в туфлях, декольте, накидка с лебяжьим пухом. Как раз приехала к закуске. Посадил ее вот на это кресло, спрашиваю: «Закусить не прикажете?» –

«Что-нибудь, говорит, соленьенького». Бегу в столовую, только хвост от селедки и остался, – несу торжественно с такой физиономией, как будто омар или по крайней мере свежая икра.

Яков Львович рассмеялся и сказал:

– На полторы тысячи жалованья что больше можно сделать?

– Отчего вы не сделались присяжным поверенным?

Яков Львович махнул рукой:

– Мне и так хорошо: счастье не в деньгах, счастье в спокойной совести; есть деньги – помог, нет – совет хороший...

В это время наружная дверь отворилась, и из передней выглянул в кучерской поддевке крестьянин.

– А, заходи, – сказал Яков Львович. – Ну, что?

– Ходил.

– Ну?

– Поступил...

– Ну и отлично...

– Благодарим покорно, – сказал крестьянин и вышел.

– Вот удалось определить в кучера... у меня здесь настоящее справочное бюро: придет концерт давать – ко мне, в кучера – ко мне, умер – бедная семья евреев ко мне. У меня самого ничего нет: есть друзья.

В это время дверь отворилась, вошел новый посетитель.

– А-а, – крикнул хозяин, увидев гостя, – позвольте вас познакомить: учитель реального училища Павел Александро-

вич Орхов, собственно инженер-технолог, но из любви к искусству.

– Да знакомы, знакомы уже: у фотографа же на вечере.

Это говорил маленький, живой, с большой кудластой головой, похожий на головастика человечек, постоянно обдергивавшийся.

– Да, да, знакомы, – сказал я, пожимая руку Павла Александровича.

– Зашел к вам, – сказал Павел Александрович, садясь, – вот по какому делу. Собираюсь я лекцию по геологии прочесть, да не знаю, как сделать у губернатора.

Абрамсон обратился ко мне и сказал:

– Как видите, это имеет самое прямое отношение к моей специальности судебного следователя.

– Вы ведь хороши с Ермолиным, – через него, говорят. Вот и дайте к нему записку, там, что ли, – сказал Орхов.

– Я сам к нему с вами поеду.

– Ну и отлично.

И, обратившись ко мне, Орхов спросил:

– Ну, как вам понравилось у фотографа?

– Очень понравилось, я и до сих пор не могу прийти в себя от удивления. Я, собственно, точно провалился вдруг в другой мир, о котором никакого представления не имел.

– Вот, вот, – замигал своими большими глазами Орхов и стал нервно ловить свои обстриженные усы, – именно провалился. В столице вы видели, конечно, этих других людей, но



не предполагали, что они и здесь имеются уже. Конечно, в городе, где сорок – пятьдесят тысяч жителей, народа довольно, но вам как-то представляется весь этот народ не своего круга чем-то очень малозначащим и неинтересным: ну, какие-то там работники, из-за куска хлеба бьющиеся изо дня в день, все поглощенные серой, скучной прозой жизни и, конечно, без всяких горизонтов. А что и есть, то это заимствовано от вас же, людей вашего круга, как заимствуют они у вас и все остальное: моды, манеры, светский этикет. И как все подражательное – все это ниже оригинала. Для этого достаточно видеть их издали: на улице, в собраниях, в театре. Словом, была какая-то непродуманная, но твердая уверенность, что вы и ваш круг – начало и конец всему, источник жизни и единственный проводник культуры. И вдруг: провалился в преисподнюю... в другой мир. Вы когда кончили курс?

– Восемь лет назад.

– В один год со мной: почти напротив жили... Восемь лет всего, и уже не можете прийти в себя от удивления, что увидели всех нас. Хоть назад поступай... Все высшее образование, может быть, не задело даже за то, сидящее и в вас и в каждом, что вы увидели у фотографа. Как раз там, где не требуется никаких дипломов, родословных, набитых карманов. Там и Савелов, которого читает вся образованная Россия, и босяк, который, может быть, удивит всех своим талантом, и все эти неизвестные люди труда, совокупным трудом которых является номер, печатный лист газеты, журнала, – в

них истины этики, политики, социальные и экономические истины, проверенные не пальцем, приставленным ко лбу, а мировой наукой... Провалился: корни не в почве, а в корке вдруг оказались... Оказалось вдруг, что наш громадный мир только болото на корочке, что есть другой мир, где и настоящая почва, где и жизнь, и знание, и искусство, где люди трудятся, мыслят, думают, осмысливают... Да, да... Новые люди из Зеландии приехали, при виде которых в себя прийти не могут. Так вот как. Ну, мне пора...

И Орхов вскочил, торопливо сунул мне и хозяину руку и ушел.

Яков Львович возвратился назад смущенный и, разводя руками, сказал:

– Вот еще чудак... Требует от всех людей какого-то геройства, аскетизма... Точно жизнь вот так и идет по прописи...

Я сидел сконфуженный, смущенный.

– Нет, в самом деле, вам понравился вечер? – говорил тоже смущенный хозяин. – Надо будет и у меня как-нибудь собраться...

– Ну, и мне пора...

Я встал, откланялся и уехал беспокойный и огорченный.

## V

Каждый раз, как приезжал в город управляющий, я нетерпеливо спрашивал:

– Ну что? Как поджигатели? Выселяются?

– Да ничего... Пока и не думают они ни о чем, надеются, что до весны не хватит вас. Чичков говорит: «Где это видно, какой закон потерпит, чтобы без суда выселять нас? Не смеет!»

Управляющий махнул рукой.

– Да что говорить? Сплетнями занимаются. Прямо смеются... Еще, говорят, столько же денег привезет. Сам будет и прощения просить. Набаловались.

– За что же прощения просить?

– Дело подорвано... Нужна власть, авторитет!

– Но произвола я не хочу.

– Никакого произвола: именно все на основании закона.

Срубил дерево – к мировому: десятерной штраф, а не можешь – в тюрьму... Ни одного слова ругательного... Исаев, голубчик, раз уже есть, Ганюшев – два...

– Попались?

– У меня попадутся!

– Вы все-таки будьте снисходительны...

– Да ведь уж... Я не желаю быть убитым... потому что, если теперь еще малейшую поблажку, то я назад уж не поеду.

Три года вы дали мне сроку...

– Но всегда на законном основании?

– Закон мне не враг.

И Петр Иванович при этом смеялся так, что мне тошно было думать и о нем, и о деревне, и о судьбе брошенных мною князевцев.

Пришла весна.

Однажды утром меня разбудили:

– Князевские крестьяне приехали.

Я быстро оделся и вышел к ним.

Двое: Родивон Керов и Пиманов (один из прощенных участников) при моем появлении упали на колени и равнодушно крикнули:

– Не губи!

Я сухо остановил:

– Господа, вставайте – это не поможет...

Тогда они встали. Родивон, не спеша, полез в карман и подал мне сложенный лист бумаги.

Это была торжествующая, не совсем грамотная записка от управляющего.

Вот она:

«Вчера, 19-го апреля сего года, 15 бычьих наших плугов после молебствия с водосвятием приступили к пашне князевского выгона. Вся деревня собралась у моста, смотрела и не верила, когда плуг за плугом выезжал из усадьбы. Когда все плуги выстроились, выехал и я с батюшкой и с 15 верхо-

выми, из которых четыре полесовщика были с ружьями, но никакого бунта не было. День был совершенно летний – от земли даже пар шел. Крестьяне всё стояли у моста, сперва в шапках, но затем, когда началось молебствие, сняли шапки и крестились. По окончании молебна, я, не обращая внимания на них, точно их здесь и не было, скомандовал: „С богом!“ И тогда плуги стали заходить и показалась черная земля. Ну вот, тогда не выдержали первые бабы и завыли. Некоторые из них упали на землю и действительно горько плакали. Я им сказал: „Вот до чего вы себя довели“. Только тогда мужики тоже не выдержали и подошли ко мне (без шапок). Подошли и говорят:

„Останови пашню: соглашаются приговоренные уехать“. Как я потом уже узнал, им прямо на сходе сказали: „Убьем вас этой же ночью, если не уедете!“ Так вдруг переменялось дело, но я и глазом не моргнул, что будто вот обрадовался. „Мне, говорю, все равно, что поп, что черт: вы, барин ваш – от кого жалованье получаю и приказание получаю... Не я, так другой... такой же, как и вы, подневольный. Поезжайте в город, привозите от барина записку, и кончу пахать“. Удостоверяю, что все пять семейств уже укладываются».

Так были изгнаны мною из Князевки пять зачинщиков из самых зажиточных дворов.

## VI

Между тем я получил место довольно далеко отсюда. Петр Иванович перед моим отъездом настоятельно звал меня в деревню. Он говорил:

– Теперь и безопасно...

– Я никогда и не боялся... – вставил я.

– И полезно для дела, и наконец... э... это будет доказательством того, что вы их простили... э... помирились с ними... все-таки... э... Дети ведь они, а вы... э... отец их... Наконец... э... Ну, вы увидите...

Петр Иванович снисходительно улыбнулся:

– Ну, как я... э... там справляюсь: может быть, недовольны останетесь мной... Нет, уж вы поезжайте: необходимо...

Я сдался и поехал.

Я приехал в деревню, когда весна была уже в полном разгаре.

Посевы взошли, и молодая их зелень беззаботно нежилась в привольном просторе яркого до боли весеннего деревенского дня. Тучки белые, нежные безмятежно плыли по голубому небу; молодой лес, точно узнав, ласкал меня приветливо своим нежным говором.

Я опять переживал неотразимую силу очарования этого праздника природы. Каждый уголок князевских земель, каждая межа и дорожка говорили, будили воспоминания, все

словно шептало: «Забудем тяжелое прошлое, сольемся опять в одно для производительной работы».

Я слушал знакомый зов, волновался, может быть... но был далек теперь от изменчивой красавицы природы.

Петр Иванович усердствовал.

Над воротами была устроена арка, перевитая молодой зеленью берез, с надписью: «Добро пожаловать». Во дворе стояла толпа нарядных крестьян. Рядом с великолепным Петром Ивановичем на крыльце стоял новый, молодой, застенчивый священник.

Когда я подъехал, Петр Иванович напыщенно спустился с крыльца, пожал мою руку, затем величественным движением головы пригласил батюшку и, когда я поздоровался и с ним, громко и важно сказал:

– Э... а вот ваши «арендатели»... э... (он показал на крестьян) они просят вас... э... сделать им честь отслужить молебен у креста, их иждивением выстроенного...

Я стоял, смотрел кругом... как будто все то же, те же лица... они кланяются заискивающе, подобострастно, как-то смешно и, не довольствуясь еще, усердно кивают мне головами.

Опять заговорил Петр Иванович:

– Э... они желали бы поднести вам по случаю при езде хлеб-соль... Э... впрочем, лучше сперва отслужить молебен... Впрочем, как прикажете...

Дело в том, что двое уже шли ко мне: староста с бляхой

и все тот же Родивон.

Хлеб на металлическом блюде. Традиционных кур, яиц, порсят не было и в помине.

Я вынул было деньги, чтобы, по обыкновению, поблагодарить крестьян, но Родивон строго и решительно отрезал:

– Не надо!

Староста за ним, прокашлявшись, с ноткой сожаления, тоже тихо повторил:

– Нет, уж не надо...

Петр Иванович важно, с соответственным жестом остановил меня:

– Э... это не за деньги, а от доброго чувства... Так, господа?..

– Так точно...

– Ну, что ж, ко кресту? – обратился я смущенно к Петру Ивановичу.

– Хоругви вперед! – скомандовал Петр Иванович так, словно он приказывал целой армии.

С хоругвями бодро зашагали, пошел батюшка с дьячком, затем я, поодаль от меня Петр Иванович, а еще подальше староста и толпа крестьян.

Попробовал было я поравняться с Петром Ивановичем – не удалось, с крестьянами и подавно сохранялась какая-то заколдованная дистанция.

Так дошли мы до креста на шишке. На кресте висела икона с изображением моего и жены моей патрона.



Ученики нашей школы и соседнего села вышли вперед и под руководством дьячка пели вместо певчих, и это было нововведением. Пели хорошо, и молодой батюшка скромно, а Петр Иванович торжествующе все время косились на меня. И ученики каждый раз, пропев, смотрели на меня с каким-то особенным любопытством.

Пропели многолетие.

Торжествующий толстый Петр Иванович, протягивая мне руку, сказал:

– Позвольте поздравить вас с благополучным приездом.

Попробовал я после молебна заговорить с крестьянами:

– Ну, что ж, всходы хороши, кажется?

Прокашлялись, переступили с ноги на ногу, посмотрели на Петра Ивановича:

– Слава богу...

– Еще бы не хороши, – усмехнулся Петр Иванович, – на унавоженной... таких и не видали, чать...

– Дай бог здоровья и барину и Петру Ивановичу...

Петр Иванович встряхнулся...

– Я что? А вот за барина день и ночь надо молиться: ноги его мыть да воду эту пить...

– Арендой довольны?

– Довольны.

– Еще бы не довольны, – вставил опять Петр Иванович, – даром кому не надо...

– Может быть, кто-нибудь имеет попросить о чем-нибудь

меня?

Мгновенное гробовое молчание. Петр Иванович и торжествует и строго, в упор смотрит на крестьян.

Преодолевая соблазн, кто-то за всех уныло отвечает:

– Что уж просить? Довольно просили...

Петр Иванович сияет:

– Что? Совесть проснулась. Нет... э... надо правду говорить: я теперь доволен.

Вдруг выходит Алена и валится мне в ноги.

– Встань, встань, – говорю я, торжествуя в душе. Зато Петр Иванович взволнован, огорчен и, не выдержав, говорит угрожающим голосом:

– Алена?! Помни!..

Алена отчаянно кричит ему:

– Да я не насчет чего там: земли, альбо денег... Муж меня донимает: защити, батюшка...

Это она говорит уже мне.

– Что же, – перебивает Петр Иванович, – ты думаешь барин – правительствующий синод, что станет разводить тебя с мужем?

Алена смущенно встает.

– Мне на что развод? Вид бы хоть... Ушла бы с детками в город от разорителя и полюбовницы его, чтобы сраму хоть не видать...

Петр Иванович важно распускает свои толстые губы, собирает их колечком, пыжится и брызжет, как сифон с сель-

терской.

– Э... я не одобряю, конечно, твоего мужа... Э... но и жене, уходящую от мужа... Э... по головке гладить нельзя...

Петр Иванович вдохновенно мотает головой. Я не выдерживаю:

– Андрей, – обращаюсь я к пьянице и развратнику Андрею, – опять ты за жену принялся: ведь такой же человек она, как и ты... Только потому, что можешь за горло схватить... Ну, ты ее можешь, а она тебя белым порошком угостит...<sup>7</sup>

Я обрываюсь, потому что сознаю всю бесполезность таких уговоров, и перехожу на практическую почву:

– Если ты дашь волю жене, я тебе лесу дам.

Андрей говорит, не поднимая глаз с земли:

– А пес с ней... дам паспорт.

– Ну, спасибо! Приходи ко мне сегодня в усадьбу за ярлыком.

Андрей равнодушно и тихо отвечает:

– Слушаю.

Петр Иванович снисходительно шепчет мне:

– Собственно против уговора... Своим решением вы ведь подрываете мой авторитет.

В ответ я обращаюсь к толпе:

– Еще кто-нибудь, может быть, имеет ко мне дело?

---

<sup>7</sup> Мышьяк – обычный прием в деревне отделяться от постылых мужей и жен.  
(Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

В толпе крестьян молчание, зато Петр Иванович говорит:

– Ну, э... я при владельце заявляю, что, если кто выйдет о чем просить, то я все равно не исполню... э... и тот мне враг.

Он обращается ко мне:

– Э... извините, пожалуйста, я предупреждал... э... что на три года... э...

Петр Иванович еще брызжет, но я, попрощавшись с бабьюшкой, иду уже назад в усадьбу.

Обед на террасе.

Перед нами весь в солнце сад с цветущими яблонями. Вершины душистых тополей ушли в лазурное небо, и вокруг них гул от пчел. Вот они золотыми нитями, то приближаясь, то удаляясь от деревьев, берут свою первую взятку. Седые ветлы над рекой, ленивые, громадные, едва шевелят, как опахалами, своими вершинами, и сквозит за ними другой берег реки с высокими, как горы из красной глины, холмами Князевки.

Какой-то праздник, нега, сон с этими неподвижными, застывшими навеки в голубой дали красными холмами.

Я ездил по имению, проверил кассу и отчетность. Во всем такой же порядок, как в этом саду. Деревня моя дает доход! Петр Иванович прекрасно устроился и с лесами; он поставляет дрова теперь в казну, он в дружбе с интендантом, называя его офицером.

Когда Петр Иванович бывает в городе, они вместе завтракают, слегка выпивают и говорят друг другу «ты».

– Так уж это у нас, у офицеров, заведено.

– Вы разве тоже офицер?

– Почти, – говорит уклончиво Петр Иванович.

Я воображаю себе этих двух «офицеров», а Петр Иванович важно и в то же время почтительно говорит:

– Э... он просит, чтоб вы замолвили за него словечко...

– Какое словечко я могу за него замолвить?

Петр Иванович еще важнее и снисходительнее играет своими толстыми короткими пальцами.

– Ну, положим... э... если такой дворянин, как вы... э... такой вельможа...

– Петр Иванович, побойтесь вы бога...

– Зачем же скромничать?

И Петр Иванович покровительственно, любовно, как человек, сообщивший мне какое-то неожиданное громадное счастье, любитесь первым ошеломляющим действием этого известия.

Петр Иванович быстро встает и осведомляется:

– Э... собственно, дело к вечеру уже... насчет дальнейшего осмотра имения?

– Завтра...

– Слушаю-с... В таком случае я пойду в контору.

Вместо него появляется старый слуга его, Абрам. Абрам из николаевских солдат. Бритое, в седой щетине лицо, злые старые глаза, весь олицетворение неудовлетворенности. Он служит у Петра Ивановича «денщиком» за два рубля в ме-

сая. Абрам укоризненно смотрит на меня и, качая головой, говорит наконец:

– Так вот как, сударь, пришлось нам скоро узнать друг дружку...

– В чем дело?

– В чем дело? – зло, не спеша переспрашивает меня Абрам, – а Петру Ивановичу кто на меня донес, что я водку из графина после завтрака выпил?.. Хорошо, метку он, положим, сделал: нет водки, – верно... Хорошо! Так почему же непременно я?! Барин, говорит, сам тебя видел, когда вошел в столовую... Так неужели же барину доносами заниматься?!

Я защищаюсь всеми силами перед Абрамом во взведенной на меня Петром Ивановичем напраслине.

Абрам недоверчиво слушает и пренебрежительно отвечает:

– Теперь, конечно, что ж вам и отвечать... а Абрам виноватым остается.

– Ну, хорошо: вот придет Петр Иванович, и я это дело выведу на свежую воду...

Абрам опять долго укоризненно смотрит на меня.

– Выведете, а Абрама рассчитают...

Он неумолимо торжествующе впился в меня глазами.

– Что мне делать?..

– Ну так вот что: вот тебе деньги...

Абрам берет деньги и медленно уходит, а я по ступенькам спускаюсь в сад.

Нежный аромат цветущих яблонь. Где-то в саду звонко и отчетливо, подчеркивая безмятежный покой, насвистывает какая-то птичка. Тонет взгляд в лазури неба, и резче контраст этой молодой весны с старым, все тем же садовником Павлом. Он стоит в конце дорожки, и несколько ребятишек окружают его.

Так окружают молодые побеги, закрывая, старое, готовое уже к смерти дерево.

Все тот же Павел с проповедью о спасении души и притче о зазнавшемся богаче.

В этом смысле все такой же неутомимый и последовательный он, когда я подхожу к нему, отпускает мне несколько горьких фраз.

Все попытки с моей стороны к примирению отвергнуты величественно и стоически.

– Барин вы – барин и есть, – разводит он пренебрежительно руками.

Я прихожу к тому месту сада, где за оградой извивается дорога в Князевку, видна деревня, пруд ясный, зеркальный, отражающий покой безмятежного неба. Там на пруду утки и гуси и два диких лебедя, которые ежегодно весной на неделю, другую прилетают на этот пруд. Иногда они вытягивают длинные шеи и кричат своими гортанными звуками. Звуки несутся и медленно замирают в праздничной округе, и снова наступают минуты тишины, неги, безмятежного покоя. Ветер стих совсем, я стою под яблоней, в ее аромате, и вокруг

меня падают розовато-белые лепестки ее цвета.

Я слышу голоса на дороге. Я узнаю их: это Матрена и Родивон. Ни я их, ни они меня не видят. Грубый, резкий голос Родивона:

– Ну да! Так и сказывали бы зимой: кто б тогда тебе давал муку?

Горький голос Матрены:

– Давал муку... Много дал... За полпуда три дня, не разгибаясь, жать...

Удаляющийся голос Родивона:

– Много – мало: не теперь толковать об этом.

И Родивон быстро проходит мимо меня.

Матрена ровняется с моей засадой, и я, подходя к ограде, говорю:

– Здравствуй, Матрена!

Маленькая, оливковая Матрена, с черными, как у турчанки, глазами, изможденная и сухая, вздрагивает и говорит:

– О, господи, как я испугалась... – Она поправляется быстро: – От радости испугалась...

Мы оба улыбаемся, и я спрашиваю ее:

– О чем это ты с Родивоном?

– Да-а! – Матрена машет рукой: – И слушать вам не стоит про наши глупые дела... Остался теперь побогаче других на деревне и командует, как знает.

– Один остался.

Матрена вздыхает:



– Потянулись за ним и другие: Сурков, Тычкин, Пиманов... ну, те уж и вовсе на красненькую гоношат обернуть всю деревню...

– Лучше, значит, не сделал я, что кулаков удалил: новые растут?

Не замечая горечи для меня ее ответа, Матрена вскользь бросает:

– Растут как грибы на навозе... не у чего жить в деревне... так вроде того, что у пустого стойла мордой лошадь тычется: нет, нет и ткнет опять, – не набежало ли? неоткуда... Посев в наемку: сама нанимала и сама же нанимаюсь... и работать не на кого... Бедноты много уходит из деревни...

Матрена задумывается и уже повеселевшим голосом кончает:

– Так мы глупые: уравниять всех нас хотели вы, – богатых выгнали, а мы, беднота, опять за ними тянемся...

Замолчала Матрена, молчу и я...

Тихо кругом. Словно под наш говор задумалось все или заснуло и спит в молодой весне крепким, глубоким сном, как те холмы с красными иероглифами, свидетели промчавшихся веков.

Стоим и мы с Матреной, пигмеи своего, мгновения, напряженно думая каждый свое.

– Ну, простите Христа ради... хоть из-за решетки нынче довелось поглядеть на вас... Важные вы стали...

– Почему важный?

– Царь, бают, призывал вас, убытки вернул, пенсию назначил...

– Это неправда. Кто это рассказывал?

– Упомнишь разве, – говорит уклончиво Матрена, кланяется и уходит.

Я слежу за ней; она идет погруженная в свои думы, и ее маленькая фигура точно больше становится и рельефнее вырисовывается на пустой дороге.

Опять я один в саду.

Старая Анна, вдова Лифана Ивановича, с внучкой и дружкой маленькой девочкой.

Спрашивает меня робко:

– Ничего, сударь, что я осмелилась в садик зайти? Сиротка вот, Настя, уж больно любит глядеть, как цветочки здесь цветут... Говорит мне: «Я, бабушка, гляжу, и все мне кажется, что тут и тятка с мамкой из земли выйдут...»

Анна гладит хорошенькую пятилетнюю Настю и вздыхает:

– Не выйдут, не выйдут, дитятко...

Она обращается ко мне:

– Маленькая, а как убивается... Забыть никак не может...

Одна осталась – взяла...

Легкий весенний день безмятежно догорает. Последними яркими штрихами разрисовывает заходящее солнце небесные поля. Розовой, прозрачной дымкой подернулся пруд, и нежнее в последних лучах светится зелень. Чувствуется прекрасное, мощное, и сильнее аромат цветущих яблонь. В ка-

кую-то волшебную даль уходит округа, и слышатся уже первые робкие посвисты соловья.

Вечером на сон грядущий Петр Иванович сам запирает окна в моей спальне и с плутовской улыбкой показывает мне еще одно нововведение – две скобы у дверей и надежный засов, говоря:

– Э... спите и ничего не бойтесь... теперь полная перемена: шелковые теперь стали.

Петр Иванович удовлетворен, доволен, но через мгновение это уже лучший из Фарлафов, прыгая, тычет пальцем в темную гостиную, где в неясных переливах луны движется какая-то фигура, и растерянно кричит:

– Э... кто там?! Кто там?!!

Это крадется все та же старая благообразная Анна и, почтительно кланяясь, шепчет:

– Успокойтесь, сударь, успокойтесь: господь милостив, все благополучно, – я воду барину на ночь несу.

– А бог с тобой, – говорит Петр Иванович, – с твоей водой... и все оттого, что шляешься без толку по свету, вместо того, чтобы давно лежать себе там рядом с Лифаном твоим Ивановичем.

Анна смиренно кланяется и говорит спокойно:

– Денно и ночью молю о том господа бога моего...

Петр Иванович уже добродушно бросает ей: – Плохо молишься, плохо молишься...

Петр Иванович прощается и уходит.

– Анна, хорошо умер Лифан Иванович?

– Хорошо, сударь... Причастился, пособоровался, приказал мне детей блюсти... Сударыня здоровы?

– Спасибо, здорова.

– И деточки?

– И дети.

– Слава богу. Спите с богом... Господь над вами.

Анна тихо, сгорбившись, беззвучно движется и исчезает в обманчивом сумраке волшебной ароматной ночи. Какая ночь: живая, вся из молодых жизней весны. Эти жизни трепещут, волнуются, живут... Какие-то уже чужие мне жизни... Я стою у окна: даль загадочная передо мною. В эту даль уйду я, как ушел Лифан Иванович, уходит Анна, как ушло все пережитое, что такой безнадежной щемящей болью сжимает сердце. И что уйдет со мной вместе в эту даль? Так хотело сердце правды, так рвалось к ней... Как неотразимо прекрасна природа. Неподвижно и тихо, и красавица ночи береза в своей молодой зелени, как ажурная, поникла и светится в лучах месяца. Так ясно видно все вокруг нее, и словно ближе месяц к ней, и шепчет ей какие-то сказки, и чутко слушает их округа: бледное нежное небо, даль, в дворцах из молодого тумана, падающий в какую-то бездну пруд и растрепанная нахохлившаяся Князевка с черной лентой убежавшей в поля дороги.

И вот и все небогатые впечатления тогдашней моей поезд-

ки в деревню, и я уже еду назад, решив завернуть по дороге к Чеботаеву, и мысленно подбиваю итоги своей поездки.

Когда я действовал прежде в деревне, я имел определенную программу.

Программа заключалась в том, чтобы, не щадя усилий и жертв, повернуть реку жизни в старое русло, где река текла много лет тому назад, восстановление общины, уничтожение кулаков. Я так и действовал ровно до тех пор, пока вдруг какая-то сила не отшвырнула меня и не разломала всю мою усердную работу в мгновение ока.

Конечно, когда таким дорогим путем появляется самосознание, то охота повторять дальнейшие в таком роде опыты пропадает, и главным образом потому, что для таких опытов не хватит никаких средств.

Но сознание ошибки не дает еще ответа на вопрос: как быть?

Я, конечно, желал как лучше... Я желал, он желал, мы желали, но где же истина, где то неотразимое, которое все наши желанья приводит в соответствие с жизнью, где то неумолимое, ясное, что заставит непоборимо признать себя?

Увы! все эти вопросы оставались без ответа.

У Чеботаевых все то же: тот же массивный дом, та же неподвижность комнат, обстановки, хозяев, – словно вчера еще только уехал от них в последний раз с ощущением полной сытости от долгого гощения.

Но и чувствуется здесь черноземная, здоровая, честная

сила.

И весь кружок Чеботаева, съехавшийся как раз в мой приезд, такой же: может быть, и простые и прозаичные люди, без горизонтов, с изъянами по части образования, но безусловно порядочные. И, конечно, эта партия выше интригано-шалопайной проскуринской партии.

Все это так, и тем не менее я подавлен и сильнее, чем раньше, я чувствую отсутствие связующих меня с деревней элементов.

За обедом Чеботаев, провозглашая и за меня тост, назвал меня по поводу моих железнодорожных дел даже Скобелевым.

– Вам, батюшка, и книги там в руки, – говорил он, – дай вам бог всяких там успехов и только, ради бога, вы не принимайтесь опять за хозяйство...

И, когда приятельский хохот всех покрыл его слова, он сам хохотал и, поворачиваясь ко всем, твердил весело:

– А? Что? Ради бога, не принимайтесь вы только за наше дело... Будьте министром, первым человеком, но ради бога... Объять необъятное – невозможно, коемуждо свое... Деревня, батюшка, наше дело, простое, дело веков, сиди и прислушивайся, как трава растет... А что? Ей-богу...

И дружеские голоса кричали мне:

– Прав, тысячу раз прав он, – уезжайте!

С этим и выпроводили меня от Чеботаева.

## VII

Пять лет я отсутствовал и возвратился в свою губернию в начале зимы голодного 1891 года.

Рано покинули перелетные птицы мертвые поля в тот год, и с каким-то зловещим напряженным молчанием стояли они, пока не покрылись белыми, как саван, сугробами снега. За этими сугробами уже притаился голодный тиф и страшными глазами высматривал свои жертвы.

Пустотой веяло от губернского города.

Не было прежнего оживления, и в перспективах улиц уныло рисовались только редкие извозчики в напрасном ожидании куда-то вдруг исчезнувших седоков, да проходили по панелям, группами и в одиночку, с женами и детьми, деревенские обитатели, растерянные, с вытянутыми лицами, блуждающими ищущими взглядами и в то же время с удовлетворением, говорящим о том, что вот они все-таки вырвались каким-то чудом из тех сугробов и теперь здесь среди богатого города, среди живых людей, которые не дадут им умереть голодной смертью.

Они и раньше знали этот город, когда в хорошие годы возили, бывало, сюда свой хлеб на продажу. Две-три тысячи подвод тогда изо дня в день выезжали на хлебную площадь, и с утра до вечера у конторок хлебных торговцев стояла толпа, ожидая очереди расчета, или, вернее, обсчета, потому что у

редкого все сходило благополучно: того в весе обманут, того в качестве.

Воротить обманом отнятое – одного бы этого хватило на теперешний голодный год.

Где уж там воротить! Хотя бы Христа ради подали теперь все эти грабившие их.

Но пусто на хлебной площади, только стаи голубей тревожно расхаживают по ней, то и дело нервно роясь в снегу; заперты и конторки, где толпился когда-то народ, и нет, пропали куда-то вместе с перелетными птицами и хозяева этих конторок; прилетят снова к хорошему году, чтобы снова тех, кто жив останется, обвешивать, усчитывать и фальшиво на глаз определять качество хлеба.

И опять отдадут свой хлеб крестьяне, не везти же его назад.

И кричать нельзя: «Караул, грабят».

С горя можно только пьяным напиться, растеряв и последнее по кабакам да притонам постоянных дворов, где все соблазны, где зорко стерегут свои жертвы стаи живущих за их счет тунеядцев. И с отчаянием познавшие городскую науку и людей города говорят люди деревни:

– Хуже всякой нечисти едят они нашего брата.

Говорят, и сами же теперь с отчаянием и смертью в душе идут в этот город.

Но если пуста хлебная площадь, заперты конторки, не пускают на постоянные дворы и бегут теперь прочь от го-



лодных деревни тунядцы, то широко отворяются двери каких-то других, до сих пор не известных деревне квартир и домов.

Ласковые слова, ласковое внимание, участие, помощь сильная, и оголодавший люд с похолоделыми сердцами быстро отходит, горячее молится и уж так благодарит, что у самого черствого просыпается аппетит к помощи, к деятельности не для себя только.

Общество, с которым я впервые встретился у фотографа, усиленно работало: собирали подписку, писали в столичные газеты, – так как провинциальные еще молчали, – устраивали приходивших из деревень, организовали отряды в деревни.

Явились бараки, столовые, чайные, и губернатор, поставленный в безвыходное положение, говорил этим частным лицам по поводу их благотворительной деятельности:

– Я ничего не вижу, ничего не знаю, но, если я увижу, мне, вы понимаете, ничего больше не останется, как прекратить все это.

Так стояло дело до того момента, когда последовало высочайшее повеление, признавшее факт недорода.

Тогда картина сразу изменилась. Сейчас же по телеграфу было испрошено разрешение на экстренное дворянское и земское собрания.

Дворяне и земцы наводнили город, и все опять ожило и волновалось. Прежде всего пошли пререкания о том, кто ви-

новат, что голод так долго не был обнаружен.

В настоящее время, когда прошло уже почти десять лет, все это уже достояние истории, но тогда переживалось острое и жгучее мгновение.

У самого равнодушного не могло не быть сознания безвыходности положения всех тех голодных, которые теперь там в своих деревнях сидели с пустыми амбарами, с ужасным сознанием, что они забыты и брошены на произвол судьбы. И все знали, что эти люди ели то, чего и скот не хотел есть, что среди этих людей уже свирепствовал голодный тиф. Совесть мучила, и тем злее, тем раздраженнее искали виноватых.

Как бы то ни было, но несомненный факт тот, что благодаря поздним мерам продовольственное дело осложнилось, и вследствие этого хотя и пришлось прибегнуть к запрещению вывоза нашего хлеба за границу, – благодаря чему мы навсегда потеряли многие заграничные рынки, – но это не спасло крестьянское население от неисчислимых бедствий и второго голода в 1892 году, происшедшего исключительно вследствие несвоевременной доставки семян.

На этой почве пререканий отношения земства и администрации так обострились, что было командировано даже специальное лицо для улажения недоразумений. Лицо это присутствовало и на земском собрании, на котором определялись размеры и форма ссуды.

Характеристикой настроения земского собрания может служить пустой, собственно, случай.

Командированное лицо, находя ссуду преувеличенной, сказало, что у правительства, может, и не имеется столько свободных денег.

Всегда изящный Николай Иванович, теперь взволнованный, голосом, обжегшим, как огонь, сказал:

– Собрание не сомневается, что это только частное мнение представителя. Правительство, которое находит средства для войн, найдет, конечно, средства и для того, чтобы воины эти не умирали с голоду.

Все смолкло, а представитель обратился к Чеботаеву: – Как фамилия говорившего?

Бледный Чеботаев, не предвидя ничего доброго, мрачно ответил:

– Я не знаю.

Встал и ответил на этот вопрос председатель земства старый Лавинов:

– Ваше превосходительство, возразивший вам наш товарищ... он только предвосхитил мысль каждого из нас, и нам остается лишь завидовать ему.

И с глубоким поклоном среди замершего в напряженном вызывающем молчании собрания – земцев и громадной публики на хорах, с которой теперь установился непрерывный, как биение пульса, ток, – Лавинов, полный достоинства опустился в свое кресло.

Среди мертвой тишины, когда уже ждали какого-то взрыва, слова представителя раздались в зале, как пар, выпуска-

емый в предохранительный клапан:

– Я лично буду отстаивать земством требуемые суммы.

Уже благодушнее собрание перешло к обсуждению форм ссуды. Было предложено ссуду выдавать обществам зерном за круговой порукой и тем только обществам, которые согласятся ввести у себя общественную запашку.

Кто-то коснулся того, что мера эта, как принудительная, требовала бы законодательной санкции, но ему ответили в том смысле, что и времени нет для этой санкции и что и принудительности здесь, собственно, никакой нет: кто хочет – берет, кто не хочет – не берет, – какая же тут принудительность?

Против предложенной меры возражал из немногочисленной группы гласных-крестьян высокий, елейный, с черной бородой крестьянин. Прокашлявшись, он сказал тоненьким теноровым голоском:

– Трудно будет крестьянам.

Кто-то бросил ему в ответ:

– Бог труды любит.

А один из земцев встал и сказал, обращаясь к гласному из крестьян:

– Вы слышали и видели, как земство отстаивало ваши интересы. Плохо и нам, крупным землевладельцам, но для себя мы ничего не просили, – только для вас. Но крупные владельцы не могут и платить за вас, как пришлось им платить за восьмидесятый, тоже голодный год, когда правительство

взыскало выданную им ссуду со всех.

– Всего-то двести тысяч, – ответил, привстав, обиженно крестьянин, – остальное крестьяне сами уплатили.

– Всего! – иронически обиженно подчеркнул кто-то, и все улыбнулись, а Нащокин, подмигнув, севшему опять крестьянину, добродушно пробасил:

– Придется, видно, помириться?

Гласный-крестьянин и кивнул, и улыбнулся, и развел руками. Дескать: и польщены, что не брезгуете, и говорить-то мне среди вас, господ, трудно, – слава богу, что и так все сошло, и, конечно, помириться придется.

За земским собранием открылось дворянское. Собственно и в земском и в дворянском собраниях, за исключением земских начальников, которые тогда не принимали еще участия в земских собраниях, большинство было все то же. Неслужилое дворянство почти отсутствовало, да теперь его, с проведением реформы земских начальников, и не было почти. И даже не хватало для института земских начальников местного дворянства: кадр их пополнялся из дворян других губерний, по преимуществу из отставных военных.

На дворянском собрании дворяне думали, конечно, только о себе. Проектов помощи было подано много. Самый яркий – был князя Семенова. Смысл его заключался в том, что дворянство принесло на алтарь отечества ничем неизмеримую жертву, отпустив своих крепостных на волю. Все теперешние долги дворянства в сравнении с денежной стоимо-

стью отпущенных крепостных – только проценты на потерянный дворянством навсегда капитал. Ввиду столь тяжких жертв дворянство, переживающее теперь небывалый кризис, ходатайствует, – если только оно нужно правительству, – сложить с него все его долги по Дворянскому банку.

Против этого проекта энергично восстали Николай Иванович и Чеботаев со своими партиями.

В конце концов удалось им провести более умеренное ходатайство, заключающееся в следующем:

- 1) о понижении процентов;
- 2) о беспроцентной отсрочке на 48 лет взносов этого года;
- 3) о возобновлении дворянством хлебных поставок в интендантство;
- 4) о регулировке отношения с рабочими;
- 5) о всех тех мерах облегчения, которые правительство признает для себя возможным.

В заключение дворянство обращало внимание как на то обстоятельство, что страдает оно от недорода в гораздо большей степени, чем крестьянство, так как последним уже решено оказать помощь, так и на то, что главный заработок крестьян не от их посевов, а от работ на дворянских землях, и, следовательно, раз дворяне вследствие отсутствия оборотного капитала сократят свой посев, это тем тягостнее отразится на крестьянах.

Довольные дворяне собрались уже подписывать протоколы заседаний, когда вдруг разнеслась по городу весть, что

старый предводитель скончался от разрыва сердца.

Так как все давно ждали этого, то смерть старика не произвела особенного впечатления. И уже раз быть тому, то хорошо, что случилось это как раз в период собрания, когда Проскуруину невозможно и крайне бестактно было бы воспользоваться своими правами заместителя до новых выборов. Тотчас же по телеграфу было испрошено разрешение, и собрание занялось выборами. Но так как все партии одинаково не были к ним подготовлены и так как до настоящих выборов оставался только год, то и помирились все партии на том, чтобы выбрать безобидного, и остановились на одном старом, никому не нужном дворянине Павле Ивановиче Апраксине. Павел Иванович, ничего не делающий человек, был известен тем, что, являясь каждый раз на выборы, кричал: «Господа дворяне, только не меня!»

И господа дворяне каждый раз шутки ради всегда подходили к Павлу Ивановичу и, смеясь, просили его быть их губернским предводителем. А Павел Иванович падал на диван и, подняв руки вверх, весело кричал: «Нет, нет, только не меня!»

Но, когда Павла Ивановича действительно выбрали, многие смутились:

– А что же теперь мы с этим шутком делать будем? И как раз в момент новой реформы.

На это оптимисты отвечали:

– Поверьте, это еще лучше.

– Чем же лучше? Все дело попадет в руки губернатора.

– Теперь все равно попадет, а ссор меньше будет, да и не время для них.

Новый предводитель совершенно разделял мнение, что ссор не надо.

– Я вообще враг всяких ссор, – говорил он, разъезжая с визитами, – и меня одно мучит: близорук я! Ну, прежде там не узнаешь на улице, – простят, а теперь я ведь предводитель дворянства.

– А, черт, – с сочной интонацией, вздрагивая своими могучими плечами, говорит черный Нащокин, – и близорук вдобавок!.. – И, подумав, трясая головой, еще убедительнее прибавлял: – Убили бобра!



## VIII

Сейчас же после выборов, установив сношения с организовавшимися кружками помощи крестьянам, я выехал в Князевку. Я ехал и думал об этом помогавшем крестьянам обществе, которое теперь, когда нашлась и для него точка приложения, так сильно вдруг обнаружило готовый запас общественных сил, до времени тлевший под пеплом и теперь вспыхнувший ярким пламенем любви к ближним, жаждой деятельности.

И сколько жизни, возбуждения, энергии, сколько теплоты! Все выходило так просто, как будто и действительно не требовалось никакого напряжения, между тем люди жертвовали и деньгами, и временем, и здоровьем, и жизнью.

Такие люди оказались и там, где я служил, оказались и везде в 91-м году, когда впервые выступили они на арену общественной деятельности.

Узнав этих людей, я все эти пять лет стремился к ним всеми силами своей души.

Было, конечно, тяжело сознать, что я, дипломный человек, перед этими людьми истинного знания – только невежда, только профан, которого давно и сознают и понимают, и только он сам все еще находится в блаженном неведении относительно того, кто он и что он в жизни.

Но уж слишком выстрадал я свое дипломное невежество,

связанное к тому же с натурой, неудержимо стремящейся хотя и к чисто практической деятельности, но всегда с добрыми намерениями на общую пользу. Понять эту пользу, понять себя, найти свою точку приложения, – понять, осмыслить, обосновать всем тем знанием, которое имеется уже в копилке человечества, – вот задача, перед которой отступили на задний план все вопросы ложного самолюбия. И эти пять лет были моим вторым университетом, в котором я действительно работал так, как не умеют или не могут работать, преследуя дипломные только знания.

Правда, я не приобрел еще одного диплома, в глазах людей своего круга я, может быть, даже потерял, но я приобрел компас самосознания, с помощью которого я мог ориентироваться. Я ехал теперь в Князевку и понимал горьким своим собственным опытом, что добрыми намерениями и ад устлан, что петлей и арканами даже в рай не затащишь людей, что в моей деятельности в Князевке я с ног до головы и с головы до ног был крепостником.

Как лучший из отцов командиров доброго крепостного времени, я тащил своих крестьян сперва в какой-то свой рай, а когда они не пошли, или, вернее, не могли и идти, потому что рай этот существовал только в моей фантазии, я им мстил, нагло нарушая все законы, посягая на самые священные человеческие права этих людей.

И это делал я, человек, который благодаря своему диплому считал себя образованным. Что же говорить о других,

и такого образования даже не имеющих, но не менее твердо желающих создать благо для этих несчастных? Что сказать об этих несчастных, над которыми я, человек без всяких прав власти, человек равный с ними перед законом, мог мудрствовать и проделывать с ними все вплоть до изгнания их из родины?

И в какой ад мы все желающие можем, наконец, превратить жизнь деревни в нашем благом намерении создать ей свой рай?

Как бы то ни было, но мое просветление пришло, и я чувствовал себя в положении человека, который после одного блуждания в темных подвалах своего средневекового произвола выбрался, наконец, на свет божий.

По поводу голода относительно, собственно, Князевки я был спокоен, так как Петр Иванович все время писал мне успокоительные письма. Как потом оказалось, он не хотел меня огорчать, боясь, чтобы непосильной помощью я опять не подорвал бы себя. Он советовался даже с Чеботаевым, и Чеботаев тоже говорил ему:

– И не пишите, батюшка, – вы ведь знаете его: возьми все и отстань... А? что? А ведь жена, дети... Ничего не пишите, конечно...

Тем ужаснее было то, что я увидел в Князевке.

Забывать этого нельзя.

Стоит закрыть глаза – и я теперь вижу и этот хлеб из мякины, и эти изможденные голодом тускло прозрачные лица,

громадные глаза всех этих брошенных людей.

И не людей даже, а уже зверей, и мучительное чувство страха перед этими перешедшими на стадию зверей оголодавшими людьми, готовыми какой угодно ценой вырвать у другого кусок.

Но этого куска не было.

Николай Исаев, лет тридцати, несчастный горемыка, отец восьми девочек и одного мальчика, моего крестника, на мой вопрос при приходе к нему, что ж он думает делать, ответил, продолжая сидеть:

– А вот в лес заведу всех и брошу или перережу их, как курчат.

Он равнодушно показал на кучу своих детей, которые, сбившись на печи, страшными глазами смотрели на своего отца и слушали знакомые сказки про мальчика с пальчик, Ваню и Машу, воплотившиеся для них в такую ужасную действительность.

– И крестника моего прирежешь?

– А что?

– А сам что станешь делать?

– А сам на большую дорогу выйду, благослови господи.

Николай говорил как будто весело и, скользнув по мне равнодушным взглядом, стал смотреть в окно пусто, равнодушно, без мысли.

Вышмыгнув, провожая меня в сени, жена Николая шептала мне со смертной тоской в голосе, с широко раскрытыми

глазами:

– Нож потрогает, потрогает и положит опять... Третий вот день и сидит так. Скажешь ему: «Хоть бы ты пошел...» – «Никуда не пойду», – оборвет, глазищами поведет... А детишки в голос воют: день так-сяк, а к вечеру хуже голод: щепку сунешь им сосать, – так ведь от щепки какая сытость?

Через неделю, никого не зарезав, Николай сам умер от тифа. И много таких умерло.

Кой-как устроившись, мы организовали столовые, где собиралась для еды два раза в день голодающая округа: дети, женщины, старики. Рабочих крестьян было очень мало.

Много трогательных, эпических сцен. Старуха Исаева, некогда глава зажиточной громадной неделинной семьи, – все это уже давно поросло травой забвения: и разделились, и разорились, и старик умер. Высокая, худая, тихая, с прекрасным строгим лицом, покорная судьбе, она ест и рядом с ней маленькая сиротка Маша, потерявшая сразу и отца и мать, третий год не могущая забыть своей потери.

Сиротка... и так и вырастет она в этом ореоле сиротчества, с воспоминанием о затерявшихся вдруг где-то там в золотых мечтах детства тятке и мамке.

Вот Федор, старик, бесстрашный скиталец по святым местам – и летом и в зимнюю пургу, – наивный ребенок, смотрящий на вас своими чистыми, как у ребенка, голубыми глазами.

В последнем своем походе на Киев, Ростов, Москву, Ка-

заны он потерял почти совсем свои ноги и, касаясь этого больного для него вопроса, он уже не спокойный, а смущенный говорит:

– С глазу, батюшка Николай Егорович, с глазу. Сидим мы на привале, а симбирский один этак ткнул в меня и бат: «Вон старик, вместо чая воду пьет, а крепче нас». С той вот поры и отрезало, вступило в ноги, хоть что... Вот уж буду жив, бог даст, весны дождусь, к отцу Александру за Самару пойду: отмаливает, говорят люди, хорошо отмаливает.

Старая Драчена срывается с своего места:

– Что ты, дядя Федор! Иди к Казани, село вот только забыла как прозвание: чудотворная икона в том селе объявилась в прошлом году на камешке... Странник ночевал у нас, сказывал: «Торопитесь, как бы поспеть».

На высказанное кем-то сомнение относительно странника и иконы Драчена с торжеством вынула образок:

– А это что?! Копия...

На копии, впрочем, стояла пометка: дозволено цензурой, Москва, 1865 года.

– Какой же это прошлый год?

И я разъяснил Драчене обман. Она очень огорчилась и говорила:

– Ах он, мошенник! Ах он, мошенник!

(Это не помешало ей все-таки отправиться весной разыскивать святую чудотворную на камешке.)

Большинство ест молча, сосредоточенно. На всех ка-

кая-то общая печать непередаваемой ясности, покорности.

– Господь наш царь небесный в яслях и во тьме родился и на кресте жизнь за нас грешных кончил: нам ли роптать?

Эта фраза – девиз этой толпы и одевает всех их в один нравственный костюм.

Мир, толпа – как один человек, и все мелкие индивидуальные особенности каждого отдельно исчезают бесследно под общим покровом.

Однажды заехал ко мне мимоходом Михаил Алексеевич Андреев, чиновник особых поручений. Он был командирован выяснить в назначенных ему волостях размеры голода. Еще совсем молодой Андреев привлекал к себе мягкой лаской, какой-то свежестью, не выдохнувшимся еще ароматом университетской скамьи, хороших намерений. Но в то же время на нем был уже какой-то налет нето грусти, не то тоски по чем-то таком, чего ни он и никто уже не могли ни исправить, ни изменить.

– Все идет, как идет, – говорил он с этим налетом грусти и начинал торопливо, озабоченно ходить по комнатам, или садился, глубоко забираясь в диван, и долго, молча смотрел перед собой и снова вскакивал и с новым порывом говорил:

– Да, черт возьми, хорошо бы, знаете...

Но что «хорошо», так и не договаривал.

На другой день после приезда он, по обыкновению, вскочил и решительно сказал:

– Ну, сколько ни сиди, а ехать надо. Слушайте?! Поедем вместе: что вам два дня?

Я не заставил себя просить, и, поев, мы поехали с ним. Ехать надо было верст шестьдесят от нас. Решено было на моих лошадях доехать до Парашиной, чувашской деревушки, верстах в тридцати от нас, а там взять земских.

Дороги были в тот год прекрасные, потому что нечего возить по ним было. Месяц светил как днем, и мы тройкой гуськом ехали, разговаривая с кучером Владимиром. Кучер Владимир любил поговорить.

Франтоватый, с серебряной цепочкой через шею, Владимир уважал красивых баб, уважал хороших лошадей, уважал себя и всех, у кого были деньги и кто умел эти деньги и зашибать и сберечь.

– Хороший человек, – говорил он, – богатый.

Или:

– Умный человек, – богатый.

К бедному человеку, пьянице, слабому – Владимир относился с презрением.

Обо мне Владимир говорил свысока:

– Что наш барин? в лошадях ничего не понимает, – хоть свинью ему запряги, – хороводится со всякой дрянью, добро свое мотает...

И теперь, проехав с десятков верст, наговорившись сперва с лошадьми и в достаточной степени выбив в гусевой дурь, в средней лукавство, а в кореннике постоянное стремление



его усесться на облучок, Владимир повернулся к нам и заговорил:

– А я все жалею вас, барин, право: все добро свое раздадите, а детям что оставите? Чем поминать вас станут? И опять насчет лошадей: вы разве думаете о них?

– А что, много еще осталось? – перебил его Андреев.

– Много? – фыркнул Владимир. – А давно ли выехали? Верст двадцать осталось. Я на часы смотрел, как выехали: больше двух часов не проедем, даром что вот лошади как будто и не тянут, а потому что каждая в аккурат одинаково с другими. Уж я им не дам друг на дружку надеяться. Другому кучеру все равно: одна везет, другая нет. – Эй, ты!

Владимир хлестнул среднюю, полюбовался некоторое время, как покачиваясь и точно слушая его умные речи, стрижет ушами коренник, и заговорил на новую тему.

– И что вам, барин, за охота в эту поганую Парашину ехать? Терпеть я не могу чувашек. Грязный народ, необразованный. Какой ни на есть татарин, а у него все-таки и письменный закон есть и молельни, а эти так: что по памяти набрешет им старик, то и ладно. Добрый бог у них – Турачурбан – на заднем дворе валяется, а злой – Ирик – просто дрянь, кукла деревянная, а тоже бог. И вредная: чуть что, так и пустит болезнь на глаза. Ночь, полночь, а никогда не стану ночевать в чувашской избе: очень надо порчу принимать на себя. Дрянь народ, тьфу! Сами посудите, какой это народ: русские мужики перепахали у них землю. Ну, конечно, спор

поднялся, – те говорят – наша и другие – наша. Так ведь до того осwirепели, – даром смиренные поглядеть, – что двух русских тут же на месте и убили. Четырех чувашек в каторгу сослали. Я тут как раз в городе был и на суд попал: сидят, мигают глазами, как слепни. Говорят им: «В каторгу», а старик спрашивает: «А земля моя кому достанется?» Говорят ему: «Сыну». – «Ну, сыну, так ладно». Там что каторга или человека убил, – главное у него земля. А так будто народ – как хочешь обижай, – там бабу, что ли, – это ничего.

– Так за что же вы их не любите? – спросил Андреев.

– Так ведь как его любить, – ответил Владимир, помолчав, – если на том свете он слепой будет.

– Как слепой?

– Как вот щенки слепые тычутся, ну?

Так разговаривали мы, когда вдруг среди мертвых в белом саване и в лунном блеске полей точно призрак вынырнула серая растрепанная деревушка. Это и была Парашина.

– Эх, вы-вы-ы!..

Встрепенулся Владимир и помчал было по селу. Но сейчас же вслед за этим он стал осаживать лошадей с таким видом, точно вот они несут его и несли так всю дорогу, и всю дорогу так и не мог он сдержать их.

– Что-то не упомяну, кто здесь ямщик, – проговорил он, осадив, наконец, лошадей, – и огня на грех нигде не видеть.

Мы стояли перед какой-то избой. Владимир еще посидел, посмотрел, потом слез и, подойдя к окну избы, сказал громко

обычную фразу в наших местах:

– Господи Иисусе Христе, сыне божий, спаси и помилуй!

Он ждал обычного ответа: «Аминь».

И, не дождавшись, нетерпеливо крикнул:

– Эй, там! Кто жив?

И, подождав еще, стал стучать кнутовищем в окно.

– Спят ли, померли, есть ли кто? Бежать, что ли, к шабрам?

И он исчез, и мы долго слушали и его громкие окрики, и стуки кнутовищем в окно.

Он возвратился, наконец, назад к нам и, разводя руками, сказал:

– Что за оказия? Никогда этого и не бывало со мной: уж не он ли играет с нами? Так вот крещусь же.

И Владимир, как бы в доказательство, полушутя, полусерьезно стал креститься, приговаривая:

– Свят, свят, свят, – свято наше место... Вот...

Владимир хлопнул обеими руками по полушубку и пошел опять к избе.

– И калитка отперта, – крикнул он и, отворив калитку, просунул голову во двор.

Но потом он вдруг быстро возвратился к нам назад и, проговорив с испугом:

– Нет, боязно что-то, – вскочил на облучок.

– Почему боязно?

– Да как не боязно, – ответил Владимир, – вы подумайте

только: молчат, как убитые, калитка не на запоре, хоть бы одна собака тявкнула, – статочное ли это дело в крестьянстве?

– Ну, тем больше надо, значит, узнать, в чем тут дело, – сказал Андреев и стал вылезать.

– Уж и мне, что ли, идти? – проговорил я.

– Да сидите, сидите.

И Андреев зашагал по снегу, а я, откинувшись, в приятном нежелании вставать, пользуясь любезным разрешением оставаться, смотрел ему вслед.

Он отворил калитку и вошел во двор; некоторое время видно было, как он шел по двору, затем слышно было, как хрустел снег под его ногами, но потом и эти звуки затихли, и Андреева долго не было.

Когда он возвратился, он подошел вплоть к саням, навалился на них и, смотря мне прямо в глаза, тихо сказал:

– А ведь плохо: все в тифе лежат.

– Как в тифе?

– Все – вся деревня. Есть такие избы, где уже замерзли, – в этой последний здоровый сегодня свалился... Хотите посмотреть?

– Так-таки все?

– Говорит, все.

Я встал, и мы пошли с Андреевым во двор, а Владимир жалобно вдогонку нам растерянно глянул:

– Барин, а барин, ну что вам за охота, – поедем лучше назад...

Охоты у меня никакой не было: каждая поджилка во мне билась так, как будто и я уже был охвачен этой истомой тифозного жара, и я шел вперед с таким трудом, точно через силу уже совсем больной тащил самого себя. Мои мысли, воображение опережали меня, и я шел нехотя, с каким-то посторонним, исключительным вниманием замечая каждую мелочь, каждую мысль. Вот Владимир все еще просит воротиться: сказать ему, что он просит потому только, что боится остаться один? Но я разве не боюсь? Чего я боюсь? Я точно пойманный вдруг преступник, и ведут меня теперь на очную ставку. И всегда я знал, что это так кончится, но никогда я об этом не думал и вдруг стал думать и чувствовать: не умом, а всем тем существом, которое теперь, согнувшись, пролезает в дверь избы, тем бессознательным, которое составляется из мяса, костей, крови, которое теперь ответит за все.

И мне было отвратительно это мое существо, его страх за сделанное.

Я задыхался в ужасном зловонии, дрожали руки, которыми я то и дело зажигал спички. Спичка вспыхивала и тухла, и то освещался, то исчезал этот склеп заживо погребенных здесь людей.

Изба курная, и потолок и стены ее были точно обтянуты чем-то черным, – черными бриллиантами, которые вдруг загорались от вспыхнувшей спички.

И в этом вспыхнувшем огне бросались в глаза лежавшие люди, и сердце сжималось тоской и болью. А эти люди мол-

чали и точно ждали в напряженном зловещем молчании, окружавшем нас, нашего слова теперь, когда, наконец, привели и поставили нас лицом к лицу с ними.

И, точно не дождавшись и изверившись, кто-то тяжело вздохнул в темноте. Какой это был тяжелый и скорбный вздох!

В тяжелой тоске спросил я:

– Кто здесь?

И мне страстно, быстро ответил откуда-то снизу голос из темноты:

– Люди, батюшка, люди!

И в то же время сверху женский голос с бредом безумного весело взвизгнул:

– Люди, люди!

– Вы все лежите?

– Все лежим!

– Лежим, лежим! – подхватили вверху.

– Пища есть?

– Не емши лежим!

– Не емши, не емши, – истерично заметалась женщина.

– И вся деревня так?

– А так, так!

– И давно?

Никто не ответил. Я подождал и зажег новую спичку и наклонился к говорившему.

Это был подслеповатый, с всклокоченной курчавой боро-

дой блондин.

Он уставился на меня и уже совершенно равнодушно, голосом бреда, сказал:

– Ишь, черт, глазища пялит.

– Это ты сейчас со мной говорил?

Но он молчал, молчала и та наверху, потухла спичка, и мрак и молчание охватили меня, как страшные объятия смерти.

К жизни, к свету, к людям!

И я бросился к дверям.

Это был столько же сильный, сколько и животный порыв. И сознание этого животного во мне, эгоистичного, отвратительного, еще мучительнее почувствовалось, и с омерзением и к себе, и к Андрееву, и к Владимиру, и даже к этим сытым своим лошадям, я стоял опять у саней, и мы советовались, что нам предпринять после нашего случайного открытия этой в поголовном тифе деревни.

– Надо точно выяснить положение, – сказал Андреев. – Надо обойти все избы.

И мы пошли из избы в избу.

Нервы притупились, и мы спокойно смотрели на однообразные картины голодного тифа, на все эти тела – живые, умирающие и мертвые, на всю эту деревню, которая стояла среди снежных равнин в страшном безмолвии ночи, в мертвом блеске луны.

Потом выяснилось, что это была одна из тех деревень, ко-

которые не пошли на запашку и в отношении которых земство мужественно выдерживало свой ультиматум: хочешь бери, хочешь нет.

Но почему же отказывались от запашки? Обычный ответ был такой:

– Кто на запашку пойдет, того в крепость назад поворотят.

Сущность же заключалась в том, что запашки не желали более зажиточные, боясь ответственности, вследствие круговой поруки, за голытьбу. То есть большинство относилось к делу так же, как и крупные землевладельцы: не желали платить за других. Это было их право, которого их самовольно и лишили крупные землевладельцы, позволив себе таким образом такой же произвол, какой позволял себе я с князевцами. И только тогда, когда на деревне и большинство уже проедало свою скотину, становясь таким образом тоже голытьбой, – запашка принималась.

Но умершие от тифа уже спали своим вечным сном в могилах, да и разорившиеся распродажей скота крестьяне не могли уже поправиться, не могли и вовремя привезти себе семян, отчего и произошел второй голод.

Я уже писал о голодном годе. Скажу только, что в моих очерках («Деревенские панорамы», «На ходу», «Сочельник в русской деревне») переданы действительные факты, и фактов этих в каждой голодающей деревне было всегда больше, чем надо. Об этом красноречиво говорили новенькие крестики на кладбищах, эти безмолвные, не всегда достоверные



свидетели.

И редкий, редкий из страдальцев видел тогда помогавших ему, – помощь потом пришла, но громадное большинство из них сводило свои счета с жизнью в страшной, нечеловеческой обстановке.

Когда потом, летом, разыгралась холера со всеми ее ужасами, она не была страшнее: тогда было лето, тепло, можно было бежать, есть траву, коренья, была иллюзия: люди умирали от еды, а не от голода, захватившего их среди белых, как саван, сугробов снега.

## IX

С Петром Ивановичем наши отношения быстро все больше и больше портились.

В сущности в Князевке не должно было быть никакого голода, так как на моих унавоженных землях уродило около тридцати пудов на десятину, в то время как на обыкновенных было два-три пуда, но Петр Иванович, умевший очень искусно собирать с крестьян аренду, умудрился собрать ее в этот голодный год и с осени, притом заставив их продавать рожь по 60 копеек за пуд.

Когда я приехал, рожь стоила уже 1 рубль 35 копеек. Таким образом, чтобы взнести мне 10 тысяч рублей аренды, крестьяне продали 17 тысяч пудов ржи, то есть все, что имели.

Я приехал и первым делом, конечно, откупил им назад хлеб, и таким образом за 10 тысяч рублей каждая сторона, крестьяне и я, потеряли по стольку же.

Обобщая князевский факт на всю Россию, несомненно, что в голодный 1891 год таким путем в руки хлебных торговцев перешло до миллиарда рублей заработка.

Несомненно также и то, что при ясном сознании, что такое сеть элеваторов, мы в один голодный год окупили бы всю ее стоимость, определенную в 1878 году в 260 миллионов и совершенно гарантирующую производителя от грабе-

жа хлебных торговцев.

Однажды утром, проснувшись, я увидел во дворе необыкновенное зрелище. Там собрались все мои арендаторы и без особых на этот раз церемоний громко разговаривали с моим управляющим.

Вскоре Петр Иванович, уже давно не такой победоносный, каким был раньше, вошел ко мне и, кривя свои толстые губы в презрительную усмешку, силился проговорить с важностью:

– Э... непременно хотят с вами... э... это бунт, и вы прямо их... того... войсками пригрозите...

Я молча одеваюсь и выхожу.

– Здравствуйте, господа! В чем дело?

– К вашей милости...

– Насчет чего?

– От аренды освободите, Христа ради!

И один за другим мои арендаторы падают на колени. Только в церкви так дружно валится народ.

Из дальнейших разговоров выясняется, что уже через год после аренды они просили о том же Петра Ивановича и каждый год повторяли свою просьбу. Но Петр Иванович не находил нужным даже уведомлять меня.

– Почему?

Петр Иванович самодовольно и даже нахально отвечал:

– Э... потому что все это бунт... э... фокусы... Надеются, что даром получают от вас землю... Э... я говорю прямо...

Несколько коштанов ведут все дело, а остальные... э... как дураки, лезут за ними...

Петр Иванович плюется, брызжет, насмешливо машет рукой:

– Даром надеются получить вашу землю...

– Но если это фокус, – говорю я Петру Ивановичу, – то он выплывет на свежую воду, – я соглашаюсь на их просьбу. – И, обращаясь к крестьянам, я говорю: – Я согласен, господа.

Не участвовало в этой просьбе только Садковское товарищество, остальные же отказались и до сего дня не заикаются о новой аренде.

Как только ушли крестьяне, Петр Иванович пристал ко мне опять со своим авторитетом.

– Это скучно, наконец, Петр Иванович, – ответил я ему, – ни у меня, ни у населения нет больше денег, чтобы оплачивать и поддерживать ваш нелепый и вредный авторитет.

Петр Иванович сразу оборвался, покраснел, надулся и ушел. После этого он ходил несколько дней темный, как туча, уезжал и, наконец, войдя однажды ко мне в кабинет, холодно заявил мне, что нашел себе другое место: у Круговского, недалекого соседа моего, теперь земского начальника.

## X

От аренды и земли отказались крестьяне, зато отбою не было от предложений работ для предстоящего лета: за что бы то ни было, только бы получить вперед деньги. Согласны на какие угодно неустойки и штрафы, – явные, допускаемые законом, и тайные (в форме всевозможных хранений, сроков и проч.), – не допускаемые. Кулак, уже получивший свою мзду в виде разницы цен, снимает новую, не сеянную им, но обильную жатву, – словом, все то же, что и до законов о ростовщиках.

И хоть даром отдай землю, хоть даром возьми труд, – ни пользы, ни толку.

Что отвечать всем этим, ломящимся в мои двери за работой? Я думал так. Ведь они не милостыни, они работы просят. Они имеют право не только просить, но и требовать этой работы от общества, государства, частных лиц, и нет выше, нет благороднее такого требования, и нет больше и счастья, как дать эту работу, иметь возможность удовлетворить это самое законное требование. А если еще дать такую работу, которая не только смогла бы поддержать чисто животное существование, но и создать то благосостояние, при котором только и возможно зарождение высших потребностей у людей: дать ту работу, в которой в свое время Фауст нашел такое удовлетворение, что отдал за нее жизнь. Но возможен ли

такой труд?

Мне казалось, что да.

Вот как я рассуждал: рожь, овес, действительно, обесценены, но подсолнух, чечевица, семена трав, травосеяние и связанное с ним скотоводство, семенные посевы всяких вообще хлебов не только не обесценены, но, напротив, щедро оплачиваемый товар.

Так, пуд подсолнуха стоит рубль, чечевицы – два рубля, а семена трав – уже три, пять, семь и девять рублей за пуд.

Овес, рожь, кудель обесценены, но во втором этаже стоят цены непропорционально дорогие: железо свыше двух рублей, канаты пять рублей. Словом, чуть сколько-нибудь культурный труд как в обрабатывающей, так и в добывающей промышленности, и он уже оплачивается у нас выше, чем где бы то ни было в другой части света.

Но почему же и не идти в таком случае в эту сторону культурного труда? Я знал возражения вплоть до чисто практического: если я привезу свою люцерну на свой местный рынок, то местная акула, скупающая мой овес, мою рожь, только вздохнет и обиженно скажет:

– Нам этого не надо.

Но что же делать? Бросить все и бежать без оглядки из голодной деревни?

Бежать? Но если деревне нужен доктор, учитель, юрист, то еще более нужен тот, кто за ту же поденщину заплатит не двадцать копеек, а рубль, тот, кто научит, как получить

тройной урожай, тот, кому для своей и сельскохозяйственной и иной машины потребуется интеллигентный рабочий и не потому только, что владелец машины будет убежден, что образование полезно, а потому, что без образованного работника его машина не будет работать: будь это железная дорога, элеватор, молотилка, сеялка, фабрика, завод.

И я колебался, не зная, что предпринять, когда одно неожиданное обстоятельство положило конец моим колебаниям.

Это случилось в начале весны. Садилось солнце, золотя весеннее небо, громко щебетали птицы, бодрый говор, как гул просыпающегося после зимы улья, несся со стороны деревни. После теплого дня морозная свежесть вечера уже приятно охватывала, манила в комнаты, к камину.

Я отдавал во дворе последние распоряжения, когда вдруг раздался протяжный заунывный вопль:

– По-о-жар!

И сразу тихо так стало, точно вымерла вдруг вся деревня. Я быстро повернулся к деревне.

В одной из ближайших к реке изб, выбиваясь из соломенной крыши, горело ровное, не толще свечи, пламя.

Я бросился в людскую, распорядился, чтобы везли пожарные инструменты, и побежал на деревню.

Когда, завернув за последнюю ограду сада, я опять увидел деревню, я уже не узнал ее: огонь уже ревел, клубился и огненной черной рекой уже лился по избам, высоким сво-

дом сходясь над улицей. Под этим сводом такими маленькими казались горящие избы. Красные, точно налитые кровью, прозрачные, они так уютно стояли, напоминая собой какой-то забытый, но страшный сон.

Меньше всего это походило на действительность, и в то же время сознание страшной действительности держало мысль в оцепенении.

Там, под этим огненным сводом, прыгали какие-то фигурки и дико кричали. Этот окрик и вопль сливались с сильным и грозным ревом огня.

Было жарко, горячий пепел падал на лицо, руки. Мимо бежали растерянные, озабоченные люди. Все потеряли голову, толкаясь друг о друга.

Бежала Матрена, растеряв где-то детей, держала решето в руках и, бледная, как смерть, причитала:

– Умильная скотинка так и горит... живьем горит...

И вдруг, придя в себя, она, голосом как нож режущим, взвизгнула:

– Батюшки, я ведь Федьку спать уложила!

Но уж кричат:

– Вот твой Федька!

Богобоязненный Федор, всегда такой благообразный, бежал растерянно, как ребенок, разутый, в рубахе, очевидно, со сна, напряженно смотрел своими голубыми глазами и растерянно твердил:

– Сыскал господь, сыскал...



Только Родивон не потерялся. Дикий рев его слышался на всю деревню:

– Тащи лошадь! Завяжь глаза! Глаза завяжь!

Какая-то баба бежала и упала и, лежа на земле, тянет, надрываясь, все ту же ноту:

– А-а-а!

И это «а-а!» на все лады повторяется в диком реве пожара.

Еще не потухли краски заката, еще темнеющая даль была прозрачна и нежна, и розовый запад еще горел, а двух третей деревни уже не стало. Остальная только потому и уцелела, что ветер был не на нее.

Тридцать пять семейств очутились без крова, без последней пищи, без скота.

Дымилось пепелище, черные остовы печей торчали там, где так недавно еще стояли избы; черные, потемневшие фигуры всех этих голодных, холодных окружали меня. Сколько отчаянья, сколько тоски было в них!

В такое мгновение так отвратительна жизнь, если не хочешь помочь.

И я сказал всем этим несчастным:

– Не надо плакать, я дам вам лес, деньги, хлеб, дам работу. Я не буду вас больше неволить и насиловать, живите, как хотите, пока идите, занимайте мои помещения и не плачьте больше!

Но они плакали, бедные страдальцы земли, может быть, и я плакал. Это был тот редкий порыв с обеих сторон к брат-

ству, любви, состраданию, когда кажется, что если б охватил он вдруг все человечество, то и горе земли сторело бы все бесследно, вдруг и сразу в этом огне чувства.

# XI

Помощь Князевке требовалась быстрая, а наличных денег у меня было мало. Те же деньги, на которые я уже решил начать свой новый опыт хозяйства, я мог получить не раньше осени.

И поэтому я обратился за деньгами к Чеботаеву.

Правда, он не раз намекал и даже прямо говорил мне, что основное его правило денег никому займы не давать, так как это-де всегда портит личные отношения. Но, во-первых, в течение нашей десятилетней дружбы, которую мы торжественно с ним на днях отпраздновали, я никогда не обращался к нему за деньгами, а во-вторых, и теперь обращался не для себя.

Отношения мои с Чеботаевым к этому времени уже значительно охладились.

Причин было много.

Прежде всего он не сочувствовал прекращению моей железнодорожной деятельности.

К моей постановке вопроса о необходимости постройки у нас сети второстепенных дешевых железных дорог по крайней мере в двести тысяч верст он относился крайне скептически и угрюмо говорил:

– Вы один это говорите. Если бы она действительно нужна была, то что же, вы один, что ли, это сознаете? Все остальные

дураки?

Тем менее сочувствовал он обостренной резкой постановке с моей стороны этого вопроса, – постановке, вследствие которой мне пришлось выйти в отставку.

– Александр Македонский, – острил он, угрюмо фыркая, – был великий человек, но стулья-то, стулья из-за чего же ломать?!

Так же мало сочувствовал Чеботаев моим новым колебаниям, – не взяться ли снова за хозяйство, – и сухо бросал:

– Паки и паки не советую... уж раз не послушались... Доводы те же...

Но он окончательно обиделся, когда однажды я объявил ему, что вхожу в компанию по изданию журнала.

– Если б мне предложили, – говорил он раздраженно, – стать вдруг московским главнокомандующим, что ли? Я думаю, я оказался бы очень плохим полководцем. Я думаю, мы с вами столько же понимаем и в литературе. У каждого, наконец, своя специальность, и нельзя же хвататься за все сразу.

Я уклончиво отвечал ему:

– Разные мы люди с вами. Меня тянет вперед, и нет узелка на моих парусах, которого не развязал бы я, а вы свои всё крепите да крепите.

Чеботаев не сразу ответил, сделал два тура и угрюмо самодовольно бросил:

– Пока и не жалею.

Не жалел и я, но, конечно, благополучие Чеботаева являлось более обеспеченным: в крайнем случае он наденет лапти, станет есть редьку с квасом, а все-таки удержит позицию. Другое дело, решение ли это вопроса и какая польза от этого другим?

В ответ на мое письмо о деньгах Чеботаев прислал мне письмо, которое и привожу:

«По зрелом размышлении я нахожу себя вынужденным во имя нашей дружбы отказать вам в займе, так как, во-первых, мое правило не давать займы друзьям, а во-вторых, по моему искреннему убеждению, в интересах вашей семьи вы не имеете и права жертвовать на благотворительность такие суммы».

Первое, что я сделал, прочитав это письмо, было то, что портрет, на котором в ознаменование нашей десятилетней дружбы мы с Чеботаевым были изображены вместе, я снял и повесил, повернув его лицевой стороной к стеклу. Затем написал Чеботаеву следующее письмо:

«Если дружба дает право на такого рода опеку, то я отказываюсь и от дружбы и от всякого личного общения с вами».

Все дальнейшие попытки к примирению я отклонил, заявив, впрочем, что, не признавая его, Чеботаева, лично, я признаю его и буду признавать, как честного общественного деятеля.

Деньги для князевцев я достал из другого источника, а бревна для постройки изб отпустил из своего леса. Кстати

сказать, эта помощь Князевке враждебно взбудоражила всю округу. Дошло до того, что даже в одной из ближайших к нам церковей священник, обсуждая в проповеди мой поступок, доказывал, что лесом я не имел права помогать в силу того, что лес-де по новым лесным законам является скорее собственностью государства, чем частных лиц.

Я священнику этому послал данные, из которых он мог ясно видеть, что в рубке леса я не вышел из разрешенных мне лесоохранительными законами размеров.

## XII

Земские начальники у нас вступили в отправление своих обязанностей в очень тяжелое и ответственное время, – в зиму после голодного 1891 года.

Среди земских начальников, как и везде, были и хорошие люди, были и дурные, но самым характерным у всех было полное отсутствие единства действий.

Земский начальник Носилов, образованный, гуманный моряк в отставке, не побоялся выяснить одну из ближайших причин, вследствие которой голод 1891 года так сильно подорвал крестьян.

Совершенно зажиточные крестьяне после аукциона превращались в нищих, Добро их переходило в руки кулаков деревни, этих пиявок – только высасывающих. Городской кулак, при всей своей отрицательной стороне, является в то же время и основателем фабрик, заводов, промышленной деятельности; кулак же деревни только сосет.

Эти пиявки в 1890 году отняли все у населения, причем на долю государства досталась едва ли четвертая часть отнятого, потому что на торгах вещь шла за четвертую и пятую часть своей стоимости.

Носилов в длинном списке указал на всех этих разорившихся, спившихся, бросивших свои семьи.

Одного такого уже сумасшедшего, высокого, с растрепан-

ными волосами, с идиотским лицом, растерянного, качающегося на своих тонких и жидких ногах, я видел. Он испуганно ищет глазами что-то и тихо твердит одно:

– Тёлочка, тёлочка...

Это был богатый, уважаемый крестьянин, глава большой семьи...

В своей практической деятельности Носилов откосячился к населению с уважением и тактом, без всякого «я», без всяких требований, вроде ломанья шапок или вставанья при его проезде. Он никогда не присутствовал на сходах, не гнул никаких линий, почти не показывался в деревнях, подвластных ему, и только в случаях, когда крестьяне сами обращались к нему за помощью, помогал им, растолковывал законы, указывал пути.

Такой образ действий и дал соответственные результаты, – его уважали. И хотя и в его округе были беспорядки и во время голода, и холерные, и так называемый «коровий» бунт, и беспорядки по поводу обязательного страхования скота, исправления татарских религиозных книг, всеобщей переписи, из-за Красного Креста среди населения полумесяца, но все они обошлись без призыва войска, сеченья, суда и всяких других мер наказаний.

Справедливость, однако, требует сказать, что наряду с Носиловым были земские начальники и другого типа.

Ярким представителем их был Круговской, у которого нашёл себе пристанище бывший у меня управляющий, Петр



Иванович Иванов.

Круговской был из военных «хорошего тона». Он носил кольца и длинные выхоленные ногти, не боялся никаких тем и начинал всегда мечтательным тоном с оттенком презрения:

– У нас любят из мухи делать слона...

Или:

– Мы, военные, обладаем одним несомненным достоинством: смотрим на вещи просто...

Идеалом его был русский солдат.

– Тот же хам, – говорил он, – приходит в полк мужичье мужичьем и в три, четыре года преобразовывается в человека, которому я не задумался бы дать должность любого пристава, – толковый, исполнительный, грамотный и без завирательных идей, что очень важно.

Круговской многозначительно, небрежно и властно поднимал свой палец с перстнем.

– И вот совершенно определенный путь для деревни, – дисциплина, гимнастика, отеческое отношение.

Это «отеческое отношение» было особенно трогательно в человеке, у которого только пробивались еще усы.

В доказательство своих уже установившихся отеческих отношений Круговской носился с письмом одного молодого крестьянина-пропойцы его округа, из грамотных.

Письмо пошлое, наполненное грубой лестью, кончавшееся подписью: «Ваш негодный и верный раб Алешка».

Круговской приходил в восторг особенно от слов: «негод-

ный и верный раб».

– Негодяй, шельма, но замечательно преданный, – тип Шибанова стремянного. В огонь и воду готов: разнюхать, разузнать...

И Круговской, складывая свои обточенные ногти в кучку, осторожно целовал их острия.

Впоследствии, впрочем, этот самый Алешка «Шибанов» и явился главным обвинителем Круговского в безымянном доносе на имя губернатора.

У Круговского не сходили с языка фразы вроде следующих: «со мной, голубчик, не долго нафинтишь», или: «я сразу вижу», «я сквозь землю вижу», «я по-своему» и т. п. По-своему Круговской распорядился и в деле доставки семян к весне 1892 года.

Я уже упоминал, что, пока земство выдерживало характер в борьбе с голодающим населением относительно общественной запашки, пока, наконец, помирились и запашка была принята, – и семена и рабочая скотина у большинства были уже проедены.

За семенами надо было ехать в город, отстоявший от нас за сто верст, а за нами и еще верст на триста тянулась полоса без железной дороги.

Только ничтожное меньшинство, обладавшее еще кое-какой рабочей скотиной, успело вовремя привезти семена, остальные же возили их еще и в июне.

Когда богатые крестьяне у Круговского привезли себе се-

мена, он приказал ссыпать зерно в свои амбары и собрал сход.

На этом сходе он приблизительно сказал следующее:

– Время пришло тяжелое, и каждый должен помочь, чем может, да и все равно вам по круговой поруке отвечать же придется друг за друга. Ну, так вот: у богатых есть лошади, а у бедных руки. Пусть богатые привезут бедным семена, а бедные заплатят им работой: жнитвом, молотьбой.

Богатые запротестовали. Один из них сказал:

– Нам бедные – братья, что ли? Нам что для них работать? Там жнитво будет ли, нет ли, – может, и своим семейным работы не хватит, такой ли год, чтоб нанимать, да и нанято уже все, что надо было, а сейчас, если мы сморенных голодухой лошадей погоним в город опять, лошади встанут, кем тогда сеять?

– Ну, полно, – презрительно кивнул ему Круговской, – морочь другого, но не меня. Конечно, не охота, да уж, видно, придется все-таки вспомнить бога, и наказание-то нам за то, что его совсем забыли. Забыли, что велел он помогать друг другу.

– Помогать? – грубо огрызнулся возражавший, – так ведь по охоте, чай, а не силой. Вашей милости охота свое добро отдать, – хоть всю землю свою отдайте, коли охота помочь, а неволить нельзя.

Ноздри у Круговского раздулись, но он сдержался и сказал спокойно:

– Ну-с, голубчик, я с тобой долго разговаривать не буду: староста, посади его за непочтительное обращение на три дня по пятьдесят первой статье.

– За что?

– А вот узнаешь за что, как три дня просидишь, мало? Опять на три дня; до троицы так: сгною... я тебя научу!!

Крестьянин хотел было еще возразить, но только крикнул, и, махнув рукой, тяжело пошел со схода.

Никто больше не грубил, но богатеи все-таки под разными предлогами уперлись и ехать в город вторично отказались наотрез.

– Ну-с, как желаете, господа, но все семена будут ссыпать-ся ко мне в амбар, и разделятся, когда последний воз придет из города.

Круговской выдержал характер и только в начале июня разделил семена.

Святой Егорий – надень-сетиво – полтора месяца тому назад прошел, когда зашагали по черным полям тревожные напряженные фигуры севцов в нервной быстрой работе, точно желая догнать Егория, точно стараясь заглушить тревогу души и страх за поздний посев.

– Никто, как бог, – говорили они, тоскливо оглядывая уже чисто летнее, знойное, без облака, небо.

Самые уравновешенные крестьяне, хотя и сбитые совершенно с толку посевом среди лета, старались все-таки убедить себя вопреки очевидной логике вещей.

– Неужели же так зря и сеем! Чать, начальство все-таки понимает, значит, не опоздано.

Но когда и семена не взошли даже и черные поля так и оставались черными вплоть до июльских дождей, то возмутились все и говорили:

– Ну, конец свету: пошло все шиворот навыворот.

А богатеи, в числе двенадцати семейств, сейчас же после сева послали ходоков на новые земли. К осени и все ушли, продав избы и размотав добро.

– С богом, голубчики, – напутствовал их Круговской.

Но и голытьба косилась на Круговского. Донимал он ее полночами, при сдаче земли выговаривал барщину. Посеял исполу гречу, а когда греча не уродилась, он приказал исполникам жать свою рожь.

Но, главное, все обижались за то, что Круговской, выпивавший и для себя семена, до прибытия их, высевал те крестьянские семена, которые лежали в его амбаре.

И у Круговского был прекрасный урожай, а Петр Иванович утешал крестьян, говоря:

– Э... все же равно, раньше того, как подвезут все семена, они так же лежали бы, так хоть с пользой полежали в земле.

И с лукавой, снисходительной улыбкой, слюнявя, прибавлял:

– Все равно: бог даст – и в окно подаст, а за барина вам богу молиться надо: он вас жалеет... Э... там взятки или там... э... у богатенького там займы взять... займы, понимаешь?

Набрал, где мог, перевелся в другое место, а тот сюда...

И Петр Иванович весь расплывался в блаженную улыбку и уже совсем благодушно махал рукой:

– А ваш барин ничего этого не делает: молиться за него надо... а там, бог даст, и урожай будет еще...

Но бог не дал в тот год крестьянам урожая. Только у крупных землевладельцев да у кулаков был урожай, и хороший урожай, при хороших ценах на хлеб, к тому же и дешевых ценах на рабочие руки, таких же дешевых, как и в предыдущий голодный год.

И крестьяне с завистью говорили:

– Ну, баре нынче против нашего брата на десять лет ходу взяли вперед.

Недалеко от меня поселился какой-то земский начальник из пришлых – Левинов.

Он был из чиновников, по каким-то неприятностям оставивший свою прежнюю службу.

Я только издали видел эту мрачную, сухую, загадочную фигуру, но о действиях его говорила вся округа.

Он выписывал, например, дешевые картинки с соответственным содержанием, рассылал их при бумаге по волостям, приказывая старшинам и старостам продавать их.

Он заводил женские рукодельные заведения для девушек от пятнадцати лет и выше: они ткали ковры, плели кружева – днем и вечером.

Ковры и кружева куда-то отсылались, а на заведения земский энергично собирал деньги с крестьян, главным образом с богатых, но собирал и на сходах. А когда кто отговаривался тем, что у него нет денег, земский выговаривал с него рабочие дни и продавал их богатым крестьянам, мелкопоместным помещикам. Эту идею он впоследствии развил более широко, составив список недоимщиков и расценив их недоимку в соответствующих работах, кстати сказать, по очень дешевым ценам, назначил день торгов, оповестив о том всех крупных посеvщиков округа.

Левинова скоро убрали.

Он как-то быстро и бесследно исчез, оставшись должен землевладельцам, крестьянам, оставив несчастную жену с пятью детьми, с шестым в ожидании, оставив в таком же положении и нескольких девушек-мастериц в устроенных им заведениях, да одну молоденькую учительницу.

В другом роде был земский начальник моего района, в общем, благожелательный человек с университетским образованием, но неопытный. Обижались и на него и за слишком большую энергию в принятии противопожарных мер и за общественную запашку.

Суть общественной запашки в том, что крестьян обязывали (как мы уже видели, незаконно) часть их земель засеять и урожай с них ссыпать в общественные магазины. Этим хлебом должны были погашаться как старые ссуды по продо-

вольствию населения, так и обеспечиваться будущие недороды.

По справедливости, такие запашки следует причислить к мерам, достигающим совершенно обратных целей.

Вот логика вещей.

Разве голод не указал на полное отсутствие каких бы то ни было запасов в населении? Каким же образом, отнимая и без того не хватающую землю для запашки, можно вдруг получить запас?

Далее.

Взять много земли для запашки, что останется для текущих потребностей? Взять мало, что даст тогда эта запашка?

А между тем сколько бесполезного времени терялось на нее. Надо принять здесь во внимание и то обстоятельство, что при плохой обработке вообще земли крестьянами (это не упрек, а факт, источник которого – бессилие, плохая лошаденка, плохая сбруя) общественная работа по качеству своему еще ниже. И вот почему.

Работы на час, а ехать надо в другое поле, – день пропал. Вследствие этого и пашню, и сев, и все работы по общественной запашке крестьянин откладывал на самый конец, и в результате получается всегда запозданная, плохая работа.

– Но зачем же они так делают? – убеждал земский начальник, – пускай и берут на день работы: не сажень, а работу дня – двадцать сажен, а тот, кто семейный, пусть выжнет зато не сажень, а двадцать сажен...



В теории все это выходило хорошо, но на практике всякий крестьянин отбывал свою сажень, теряя на пашню, посеяв, полку, жнитво, возку и молотьбу своей сажени по дню. И в результате получалось то, что если учесть весь затраченный труд, то пуд хлеба с общественной запашки, стоивший на рынке двадцать-тридцать копеек, обходился крестьянам в два-три рубля...

Надо указать и вот еще на какую несправедливую сторону общественной запашки.

Работа здесь распределяется по числу душ: каждый год с рождением или смертью члена семьи мужского пола и число душ изменяется. И может выйти так: кто брал на одну душу – вследствие увеличения семьи работал теперь больше, чем брал хлеба; так же, как тот, у кого за смертью душ становилось меньше, работал по раскладке наличных душ меньше того, чем брали хлеба.

Нельзя не упомянуть при этом и о злоупотреблениях при продаже такого общественного хлеба.

Какой-нибудь из теперешних радетелей общественного деревенского блага будет энергично возражать:

– Помилуйте, хлеб продается с торгов, заранее оповещается, и прочее и прочее.

Это теория. Практика же вещей говорит иное: хлеб скупается кулаками-стачечниками, и радетель общественного блага знает это отлично. Знает и то, что наличность хлеба в руках продажных надсмотрщиков, и сколько в действительности

сти этого хлеба, – знает только он да покупатель.

Словом, отвратительна эта общественная запашка во всех отношениях: и как всякая натуральная повинность, и как круговая порука, и как разорительный и в то же время никуда не годный паллиатив.

И крестьяне отлично понимали все это так же, как понимали весь эгоизм в данном случае земства, доведшего их до посева в июне, до второго голода. Понимали и раздражались.

Раздражались крестьяне и заботами нашего земского о мерах против пожара.

Он писал циркуляры, чтобы крестьяне смазывали глиной крыши изб и дворов, и сам ездил и энергично следил за точным исполнением своих требований.

И не успевшие отдохнуть от зимней голодухи, от перевозки семян и весенней пашни лошаденки таскали опять глину, а упавшие окончательно духом крестьяне, с высот крыш своих видевшие свои опять и в этом году черные поля, – апатично смазывали глиной те крыши, которые благодаря гнилой соломе, которую и скот не ел, уцелели, приговаривая:

– Прежде придет, бывало, голодный год, хоть крышами кормили скотину, а теперь и тут шабаш.

А когда ветхая крыша под не принятой в расчет новой тяжестью глины проваливалась, несчастный крестьянин в отчаянии и тоске проклинал и эту работу и день и час своего рождения.

## XIII

Холера еще была где-то далеко, а страшные, один нелепее другого слухи уже ходили в народе.

Все невежество масс точно проснулось и рельефно и ярко обрисовалось в этих слухах.

В мирное время крестьяне благодушно будут рассказывать о ведьмах и домовых, а на малейшее сомнение и сами смутятся и, махнув рукой, скажут:

– Бабы, конечно, чего не наговорят.

Но теперь они не хотели больше смущаться и верили. Вот какой сцены я был свидетелем в июне 1892 года в деревне, где пришлось мне кормить лошадей при проезде в город.

Было часа два дня. Все нежилось в ярких лучах солнца. Купол неба, точно прозрачный, вторично отражал эти лучи и посылал их светло-голубыми стрелами назад на поля, на пруд, на грязные высохшие избы и дворы деревни. У единственной одинокой ветлы у пруда толпился народ и горячо о чем-то толковал.

Сидя на завалинке того двора, где кормились мои лошади, я смотрел на эту толпу и слушал словоохотливую, нервно-возбужденную хозяйку, которая мне, своему старому знакомому, что-то толковала.

– Зачем народ собрался там?

– Ох, батюшка, такое пошло по свету, такое, что и дедам

нашим не приводилось, – что дедам? Сколько ни жил другой, а такого не видал еще... Три сестры из индийской стороны взошли в нашу землю: горячка, холера да чума. Как взошли, никому не известно: кто их пропустил? Вот по деревням и смекает теперь народ: кому надо было их пускать? О-ох! Свет-то куда поворачивается!

Она вдруг с ужасом уставилась в меня.

– Я-то, глупая, что наделала? Рассказала тебе.

Но, так же быстро успокоившись, махнула рукой и весело сказала;

– Ох, да ведь, чать, не погубишь меня, старуху.

Она двумя пальцами обтерла губы и продолжала:

– Ни меня, ни себя губить не захочешь: вот пойди скажи им сейчас, что узнал про сестер, живого не выпустят, удушат, камешек к шейке привяжут и уложат в тот прудик.

– За что?

– Поопасаются, как бы не донес, батюшка – даром, что и знакомый будто барин, да нынче времена такие пошли, что скоро и отец не отец станет.

– Да ведь это глупости.

– Глупости? – наклонилась ко мне старуха, – от простоты твоей глупости это... Какие глупости, когда видишь, чего наделали? Поля видел? – Черные, а лето-то в середине, – в середине лета сеяли – голод опять? В нашей деревне столько народа, а во всей-то земле – ну! Ораву этакую второй год чем кормить станут, когда и в прошлом году хлеб на полтора

рубля выскочил? А тут как три сестрицы примутся – и скачают ненужного народу, чем так же им с голоду опять пропадать. И шито и крыто, и никто и не узнал: кто там виноват, да как, да что: понял?

Я успокоил старуху, сказав ей, что ничего крестьянам не скажу, что подойду к ним так от себя, ничего будто не зная, и, встав, поборая какое-то жуткое чувство, пошел к пруду.

Но, увидев, что я иду, крестьяне не стали меня дожидаться и, быстро перейдя по ту сторону плотины, разошлись.

Потом я несколько раз слышал от крестьян тот же рассказ, всегда передававшийся мне с глазу на глаз, под страшным секретом, и каждый раз на мои доводы, что это ложь, я получал в ответ снисходительное и непреклонное:

– Нет, это уж верно.

И все тот же довод:

– Голод опять?? Так?! Чем кормить? А?!

Напряжение и тревога росли. Приехал как-то ко мне урядник.

– Смута идет в народе: толкуют всякий свое... Человек воротился из Астрахани: «Сам, говорит, видел: рот откроют, набьют ему в рот белого порошка и в гроб, живьем, пока бьется еще, и тащат, – вот как подошло, вот как за нашего брата нынче принялись». Скажешь им: «Да бог с вами!» – оборвут: «С нами-то бог, а с вами кто? черный?..» Начнешь искать человека, который воротился из Астрахани: и пойдут, – тут, там, в той деревне, и нигде никого не найдешь. – И

урядник, понижая голос, объясняет: – Видите, как они толкуют: кто, говорят, народ подвел под новый голод? Коли воля была их на это – и на все, значит, воля есть. А другие и не то еще толкуют. Я, конечно, донес становому, так ведь что тут сделаешь? Говорит: не те времена, видишь и не видишь, слышишь и не слышишь...

Легенду о сестрах при приближении холеры сменил более реальный слух:

– Доктора порошками морят народ.

И то же объяснение.

Так, волнуясь, ждали холеру.

А перед самым появлением ее все слухи о ней затихли, как будто забыли о ней.

И вдруг, как громом поразившая всех весть: в Парашине холера.

В той самой чувашской Парашине, где зимой был сплошной тиф.

Опять заволновались, взрыв какого-то животного страха. Страх не перед болезнью, а перед кем-то живым, невидимо ходящим где-то между людьми существом, неумолимым, страшным, которое искало свои жертвы: и чем беднее, тем страшнее было человеку, потому что знал он, что его-то и отметят, как лишнего.

И голытьба пила, и какой-нибудь пьяный дико ревел:

– Какая такая холера?.. Выходи! Не боюсь...

И, шатаясь, он засучивал рукава, вызывая на бой то

неумолимое, которое уже жило, уже ходило между ними.

Бедные парашинцы!

Я как-то вскоре после сева ездил к ним и попал случайно на их праздник весны – Уяв, в честь Тура и молодой богини, дочери доброго и великого бога Тура.

Этот праздник весны, этот языческий культ Венеры, эти люди довладимирского периода, в их национальных костюмах, так ярко запечатлелись в моей памяти.

Я, не заезжая тогда в село, поехал прямо к лугу, где происходило празднество.

О страшных картинах зимы не было больше и помину: теперь было тепло, грело солнце, сверкала речка; паровые поля за отсутствием скотины, как ковром, покрылись желтыми, белыми, синими цветами.

От этих цветов пахло нежным ароматом. На веселом лугу кружился хоровод из молодых девушек и парней.

При приближении моего экипажа толпа сперва бросилась было врассыпную, но меня узнал старик чуваш, переводчик, и остановившись, хотя и не совсем уверенно, но ждал меня.

Отбежав поодаль, остановилась и остальная толпа.

– Думали была чиновник какая, – снисходительно приветствовал меня старик.

– А если и чиновник, – пренебрежительно огрызнулся с козел Владимир, – так он съест, что ли? То-то зайцы...

– Ну зайца, – сказал старик, – нынче чувашка не зайца:

кто хочешь приезжай...

– А сами от кого хочешь лыжи так и навастривают...

Я смотрел на девушек, все еще стоявших вдали.

На них были надеты род белых длинных рубах, обшитых красным кумачом, перепоясанных красными поясами, сзади спускался род хвостов, а на голове были оригинальные уборы: металлические шапочки вроде тех, что носили древние воины времен Владимира, с острой шишечкой на макушке; на грудь, вдоль щек, от шапочки падали длинные застежки, все обшитые мелкой и крупной серебряной монетой.

В этом наряде молодые лица девушек выглядели свежо, оригинально и сказочно.

– Что, эти шапочки можно купить? – спросил я.

– Нет, купить нельзя, смотреть можно.

И разговорившийся со мной старик ушел к девушкам и, очевидно, стал уговаривать их подойти ближе. Они не сразу подошли, но, наконец, согласились.

Я смотрел, как они подходили: уверенно, плавно, спокойно.

– Смотри, – сказал мне старик.

Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой круг и начали петь: это было такое оригинальное и пение и зрелище, какого я никогда не видал. То есть видел на сцене, в балете, в опере. Но это не был ни балет, ни опера, а жизнь.

Большой круг плавно и медленно двигался; девушки шли в пол-оборота, одна за спиной у другой. Один шаг они делали



большой, останавливались и тихо придвигали другую ногу.

На сцене это показалось бы, может быть, выдумкой – здесь же был естественен и непередаваемо красив этот хоровод молодых весталок.

Они смотрели перед собой и пели.

– О чем поют они?

– Без слов поют, – отвечал нервно старик, – так будут петь они, когда после смерти пойдут к Туру. Они будут смотреть прямо в глаза и на голос пойдут... Человек бедный, нет ничего, много грехов... Только на голос, на один голос, без слов пойдут, чтоб простил великий добрый Тура...

Девушки пели, а старик переводчик, он же и жрец, говорил мне:

– Бедные чувашаи мы, живем, как можем. Великий Тура весну дал нам, а дочка его нам свадьбы правит. Так и живем мы: пашем землю, круглый год работаем, а весна придет, опять веселимся. Мы любим землю. От нас обиды никому нет. Мы всё весело делаем: работаем, празднуем, а смерть придет – умираем. Так мы живем. А эту вот песню только раз в год весной можно петь: больше нельзя, грех.

Старик говорил, а я слушал.

Иногда громче поднималась песнь среди аромата полей и улетала в небо, сливаясь там с песней жаворонка, нежная тихая песнь о промчавшемся...

Что оперы, что романсы?! Разве передадут они этот аромат вечно молодой весны и нежной тоски о проноссящихся

веках? Разве передадут они эту песнь народа, две тысячи лет сквозь всю ломку пронесшего с собой яркий образ прежней жизни? Разве можно выдумать такую песнь?

Девушки, кончив, смотрели на меня, охваченные своей песней.

К одной, у которой глаза горели таким сильным огнем, а щеки от контраста с серым металлом ее каски были еще румянее и вся она была ярким сочетанием мира и войны, покоя и возбуждения, огня и холода, подошел стройный парень с черными большими глазами, тоже в белой, но короткой рубахе, тоже обшитой кумачом.

Мужчины чуваша мелкорослы и плюгавы, и красивый парень рельефно выделялся.

– Это мой внук Зораиб; вечером он возьмет ее в жены себе. А это мой второй внук Зораб.

Зораб был моложе Зораиба и обещал из себя в будущем типичную плюгавую фигуру растрепанного, взвинченного, с виду вечно пьяного, но всегда веселого, благодушного чуваша, который вместе с двадцатью такими же будут сперва убегать от нового лица, а потом усердно наперерыв бросятся выпрягать или запрягать ему лошадей, крича благим матом, без толку суетясь, на все вопросы, как их зовут, расторопно отвечая единственное знакомое русское слово: – Иван!

Я вынул деньги и отдал их невесте Зораиба. Глаза старика сверкнули, и он что-то оживленно заговорил. Девушки весело, снисходительно слушали его и, переглянувшись, взялись

опять за руки.

Когда образовался круг, две, разорвав его, отвели каждая в свою сторону концы круга, и все сразу опустились на землю.

Они не то встали на колени, не то сели совсем.

И вся эта гирлянда белых и красных цветов, все эти молодые глаза так ласково, непринужденно и приветливо смотрели на меня. Унижения не было и следа – они только приветствовали меня, чужестранца.

Так две тысячи лет тому назад, может быть, слушал какой-нибудь путник, в честь которого пели девушки, – путник, который попал на их и свой праздник. Так мог стоять и мой предок. И, заколдованный песней, я видел теперь то, что скрыто от смертных.

Садилось солнце, мечтательно догорал день, по золотистым небесным полям заката двигались тени, а одинокие тучки туда выше в бирюзовом небе уже вспыхнули и горели прозрачным последним огнем.

И сильнее охватывало меня очарование. Только снится иногда такое состояние, какое испытывал я, – нежное, непередаваемо сильное, это состояние сна наяву. Проносились времена, или я, дальше и дальше, попав в обратное течение, уносился назад рекой времен. То небо, те поля неба, и этот круг девушек, и их песня, и я слились вместе в одно, далекое, забытое, что было когда-то и моим...

Я пришел в себя и в ответ на их поклон снял свою шляпу

и, от всей души, проникнутый и сам приветом, уважением и признательностью, поклонился им.

Я уехал, но долго еще перед моими глазами стоял нарядный луг с толпой языческих девушек, я все слышал их песнь, и напев ее в моей душе так нежно звучал, что, право, я не запомню, захватывало ли когда-либо что-нибудь меня так сильно, как эта промелькнувшая картинка из давно забытой эпохи человеческой жизни.

С нами сел и старик чувашин, чтобы показать нам более короткую дорогу.

Даже Владимир, и тот поддался впечатлению и сказал в порыве:

– Да, хорошо...

Но, проехав немного, он повернулся к старику чувашину и сказал с сожалением:

– А все-таки ваша вера пустая, и ваш бог – чурбан, дрянь...

Владимир сплюнул, а жрец рассмеялся и ответил:

– Конечно, пьяница наш бог и с нами водку вместе пьет, зато и держим мы его весь год на задах... Ну, а как весну нам подарит опять, тут мы спасибо ему говорим. А вот Ирик злой: его не надо ругать, – на глаза как раз болезнь пошлет...

Вижу, хочется Владимиру и Ирика обругать, да боится, только губы сжал да гневно смотрит перед собой.

И вот эту милую и бедную Парашину, этот поэтичный уголок весны первую посетила холера.

Вот как это случилось.

Сейчас же после праздника Уяв Зораб и Зораиб отправились на заработки на юг, в степь, где сеют только крупные помещики, у которых предвиделся в этом году урожай.

Верстах в двухстах от своей деревни, в большом торговом пригороде, где уже свирепствовала холера, заболел холерой Зораиб.

Испуганный Зораб положил брата в телегу, закрыл травой и повез его обратно домой.

Зораиб дорогой умер, и привез Зораб только потемневший, смрадный труп его.

Но дорого было похоронить его по родному обычаю, чтоб не блуждала его тень вечно у входа к Туре, чтоб не взял его к себе злой Ирик.

И Зораиба похоронили, как приказывал закон.

Пекли блины, закатывали в них сальные свечи и бросали собакам. Грызлись собаки, хорошо грызлись, и веселые были похороны. Пьяные напились чуваши, пели песни и с пляской везли тело Зораиба.

Молодая жена Зораиба, Зораб и дед сидели с Зораибом в телеге, спиной к лошадям.

Хвалили Зораба за то, что верным был братом Зораибу, и в память мужа жена Зораиба соглашалась стать его женой.

Но на другой день и она и Зораб уже катались в предсмертных конвульсиях.

Похоронили и их.

Много стало умирать и не хватило ни водки, ни блинов, и разбежались люди, кто куда мог, и стала пустая деревня.

Все выше и выше росла трава на непаханных парах. Но не было больше белых, желтых и синих цветов на ней, – сохла она, и уж не трава, а высокий жесткий бурьян стоял, а среди них стояло пустое Парашино, и далеко теперь кругом обходили и объезжали его редкие путники.

В нашем округе холера началась в селе Боровке.

Во избежание распространения заразы земский начальник распорядился хоронить не на старом кладбище, находившемся внутри села, а на новом – вне села.

Теоретически он был, конечно, совершенно прав, но при большом опыте провел бы дело иначе. Поручил бы, может быть, священнику, чтобы тот в проповеди растолковал народу все обстоятельно. Может быть, лучше было бы и совсем закрыть кладбище в центре села, начав хоронить всех вообще умерших на новом. Еще лучше было бы, конечно, провести все это одной общей мерой, исходящей из более компетентного источника.

Как бы то ни было, но земский, выбрав надлежащее за селом, на обрыве реки место, огородил его плетнем и даже успел похоронить там одного бездомного старца, умершего от какой-то невыясненной болезни. Настоящей холеры тогда еще, собственно, не было в селе, но вскоре затем страшная гостья появилась.

Известно, что народ наш не любит новых кладбищ.

– Новые мазарки, – говорит он, – новые покойники.

При появлении холеры крестьяне угрюмо заговорили по поводу нового кладбища:

– Накликал-таки.

И крестьяне решили не хоронить холерных на новом кладбище.

Когда умер первый холерный, то жена покойного поступила так: избу заперла, а ключ забросила.

Собралась толпа крестьян у запертой избы и стала рассуждать. Она, эта толпа, не желала прежде всего ничего незаконного. Распоряжение хоронить на новом кладбище, конечно, факт; но факт и то, что покойник заперт. Чтобы достать его, надо сломать замок, то есть учинить дело со взломом – дело незаконное, а следовательно и творящие его тем самым становятся как бы вне законов.

– Да, ловко баба закрутила, – в веселом похмелье свалившегося горя потряхивали головами те, кому растолковывалась эта хитроумная казуистика.

– Да-а, теперь действительно попробуй только взломать...

Староста растерялся и поехал за пять верст советоваться с земским.

Возвратился староста назад и говорит:

– Велено отвести бабу в земскую квартиру и держать ее там под арестом до тех пор, пока ключа не отдаст.

– Ну что ж, – решила толпа, – под арест, это по закону.

Баба покорно пошла и села под арест. Сидит день, другой, но ключа не отдает. Лето, жарко, народ волнуется:

– Этак и без холеры сделают нам холеру... Экое, пра, дело: сами ведь на беззаконие так и лезут, того и гляди, попадешь с ним в беду.

Думали, думали и решили от беды ехать к становому.

Становой пользовался большой популярностью среди населения.

Выслушав ходоков, он обещал им содействие и поехал к земскому.

– Ничего не могу, – говорит наш молодой земский, – раз уж поставлен так вопрос... Попробуйте уломать их.

Поехал становой в «бунтующее село». Собрал сход и начал уговаривать крестьян подчиниться вполне разумному требованию земского.

– Стой, стой, – закричал один из толпы, – а как же у тебя в Сороках в селе хоронят? Или так: что загон, то закон?

После этого становой поехал опять к земскому и объяснил, что у него в околотке четыре земских начальника и каждый решил по-своему этот вопрос: один ничего не предпринял и все оставил по-старому; другой засыпает могилы известкой; третий – всех больных в бараках увозит и хоронит их из барачных своим распоряжением, ночью; четвертый – наш земский начальник – еще новую меру придумал.

– Ввиду того, что мною же с согласия земского начальника действительно разрешено в Сороках хоронить в селе, я не



могу здесь ручаться за дальнейшую безопасность.

– Но как же быть? – спрашивал земский. – Ведь мой авторитет пострадает...

На счастье приехал доктор и для спасения авторитета решили так: земский и становой поедут в бунтующее село; доктор окольными дорогами невзначай попадет в то же село. Земский при появлении доктора сошлетя на медицину, а доктор, жертвуя на этот раз авторитетом своей науки, скажет, что можно хоронить и в селе, но только посыпать могилы известкой. Так и сделали. На том и помирились. Так в одиночестве и остался на новом кладбище, обнесенном плетнем, на высоком обрыве реки, безродный старик, вечный памятник мирного исхода дела.

У более решительного и меньше сомневающегося в себе Круговского беспорядки кончились далеко не так благополучно.

Одного из таких беспорядков я был отчасти очевидцем.

Беспорядки у Круговского, о которых я упомянул, произошли прежде всего в большом торговом селе. Среди населения много староверов. Известна их заботливость относительно того, чтобы как-нибудь не оскверниться, «не измирщиться», – своя икона, своя посуда. В случае даже пожара староверы предпочитают, чтобы избы их сгорали, но не поливались бы водой из ведер православных. В кабак придет, пьян напьется, но из своей посуды. Какой-нибудь резонер деревенский пустит такому староверу;

– Вы, что ж, думаете, царствие небесное дураки стерегут? Нажрался, напился, а своя посудка, и прав опять?!

Несостоятельность этой посудки таким образом, с одной стороны и односельчанам их очевидна, но мало ли, с другой стороны, несостоятельных верований на свете?

И раз уж это религиозная обрядность, то хороша ли она, худа ли, но если даже говорить об искоренении, то и искоренять ее надо осторожно и не в разгар таких народных бедствий, как холера.

Но в данном случае и искоренения не было, а так просто неведение. И в результате распоряжение: больных, и православных, и староверов – всех тащить в один барак.

Выполнение этого было передано урядникам, полицейским. Выполнялось грубо, с зуботычинами.

Кто-то кого-то ударил, – крик, шум, и собралась уже всем предыдущим раздраженная толпа. И как раз в базарный день, следовательно, были и пьяные. Приехал Круговской. В задних рядах толпы пьяные ругались. Круговской прикрикнул было, но стали громче ругаться, а передние просили земского уйти, опасаясь, как бы не убили его. И Круговской ушел, но затем уехал в губернский город...

И из приведенных примеров ясно, что многое из того, что приписывалось только народному невежеству во время холерных беспорядков, надо списать с народного счета и записать за счет кого угодно, только не народа.

Невежество, конечно, невежеством, но и в самых невеже-

ственных и с виду нелепых действиях народа всегда на долю других приходилась львиная часть.

Вспомним хотя бы так называемый бакинский бунт, где весь бунт заключался в том, что, когда удалось поймать убежавшего полицеймейстера, его привели в собор и взяли с него клятву, что он не бросит город на произвол судьбы.

Таким образом грубости, глупости, невежества, халатности, презренной трусости было более чем достаточно со стороны тех, кто именуется представителями своего народа. И не тому надо удивляться, что холерный год обнаружил невежество черни, – странно было бы, если б этого не случилось, – а тому, что он в одинаковой степени обнаружил несостоятельность и нашу.

Всякий слышал, конечно, нелепые обвинения, что фельдшера и доктора умышленно травят народ какими-то порошками.

С виду действительно, что может быть нелепее этого слуха и сколько надо невежества, чтобы поверить ему?

А между тем вот какой разговор вел я с одним крестьянином уже много времени спустя после холерной эпидемии:

– Упрекают народ, что порошкам веру дают, а ведь так это... Докторов нет, а фельдшера морят... вот хоть мое дело: уморил фельдшер мою дочь, сударь, – не тех порошков дал... Еще раньше двоих другой уморил так же... И следствие было: только и всего, что перевели в другой участок, – других, значит, морить будет... А вот этакая гостья подой-

дет, и вспомнит народ опять...

Очевидно, следовательно, что в основе народных слухов не только невежество, но и факты были. И важно здесь то, что изменилось ли настолько наше настоящее с недавнего прошлого, чтобы быть спокойным, что это прошлое не повторится?

– Дохтуров не видим, а фельдшера морят...

И кто не подтвердит тот факт, что в районах, где доктора были на высоте, там и бунтов не было. Что доктора!

В одном из описываемых мною сел была фельдшерницей девушка, и, несмотря на массу промахов административных и медицинских, только благодаря ее громадной популярности, порядок и тишина не были нарушены.

Уезжая, когда ее провожали и спрашивали, чем она заслужила такое уважение и популярность, она отвечала:

– Я видела в крестьянах равных, совершенно *ровных* себе и оказывала им то уважение, какое желала бы, чтобы оказывали и мне.

И не только данная фельдшерница, но и громадное большинство фельдшерниц и учительниц пользуются такой же популярностью, и всегда та же основа их популярности: полное уважение личности другого.

И без всяких забот таким образом с их стороны они добиваются того авторитета, к которому так неудачно, надо правду сказать, стремится наша интеллигенция мужского пола.

Эту сторону пользы общественного труда наших женщин

необходимо подчеркнуть: женщины смягчают наши общественные нравы и подают нам пример такта, вежливости, внимания и уважения, без которых в наше время так же трудно, как легко было в дореформенную Россию.

## XIV

Мои непосредственные наблюдения над холерой неожиданно прекратились, потому что я сам заболел и провалялся довольно долго.

Касаюсь этого обстоятельства, потому что оно сблизило меня с нашим земским доктором, Константином Ивановичем Колпиным, а через него и с целой группой интеллигентных лиц деревни.

Я заболел в начале августа 1892 года. Накануне, вечером, я только что возвратился к себе в деревню после довольно продолжительной поездки в соседнюю губернию, где особенно сильно свирепствовала эпидемия.

Засыпал я здоровый, довольный, что вырвался невредимым, что приехал, наконец, в такое место, где холеры никогда не было, – это объяснялось особым климатом Князевки, – а проснулся от нестерпимой боли в желудке, со рвотой, с отвратительным желтым, – иначе не могу характеризовать, потому что все было желто в глазах и ощущениях, – состоянием моего вдруг сразу расслабившегося организма.

В открытое окно донесся испуганный крик горничной:

– Дядя Владимир, барыня приказала ехать за доктором.

И голос Владимира, спокойный, ленивый:

– Еще что?

– Барин заболел.

Пауза и новый вопрос недовольным тоном.

– На каких лошадях?

Голос жены:

– В коляске на выездной тройке.

– Слушаю-с.

И погода опять голос горничной, очевидно, уже вдогонку:

– Дядя Владимир, барыня приказала поспешить!

– Ладно, – ответ Владимира, – барин там жив или нет будет, а за лошадей кто ответит? Раньше как через двенадцать часов не ждите, – лошадей кормить там буду.

Должен сознаться, что, когда начались припадки, я струсил и упал духом; эти же слова Владимира как-то сразу возвратили мне полное душевное спокойствие. Если можно так выразиться, принимая мое тогдашнее состояние во внимание, мне даже весело стало от этой откровенной и ясной логики вещей.

Владимир выдержал характер и действительно явился с доктором ровно через двенадцать часов.

Все уже это в то время было мне, впрочем, совершенно безразлично. Я ощущал только одну невыносимую боль от судорог, ощущал одно желание, какой бы то ни было ценой, но чтоб окончились эти боли... Как сквозь запертую дверь, я слышал страстные, убеждающие возгласы чужого мне человека:

– Это надо, необходимо надо... Если бы вы только сделали еще одно усилие...

Ко мне наклонялся высокий худой человек, с маленьким, как кулачок, лицом, то молодым, то старым, когда оно сбегалось вдруг все в мелкие морщинки. Тогда через раскрытые губы его была видна дыра отсутствующего переднего зуба, а большие золотые очки делали лицо его еще более маленьким и старым. Что-то изжитое, болевое, горькое бывало тогда в этом лице.

Я знал этого человека; это был доктор Константин Иванович Колпин, уже десять лет, прямо с окончания курса, живший в нашем околотке.

Я знал его и раньше болезни, но он как-то не вызывал к себе интереса. Робкий, деликатный, точно испуганный или ищущий, и он молчал о себе, и о нем никогда никто не говорил.

Собственно, болезнь моя прошла довольно скоро, но силы восстанавливались медленно, и долго еще не оставляло меня тяжелое апатичное состояние.

В этом периоде доктор довольно часто навещал меня, — мы узнали ближе друг друга и сблизились.

Он оказался образованным человеком, с определенными взглядами на жизнь, хорошо знакомый с нашей литературой, с ее господствовавшими направлениями.

Наряду с этим совершенно удовлетворительным впечатлением, какое произвел на меня Константин Иванович, чувствовалось в нем и какое-то бессилие, что-то надломанное. Чувствовалось сознание этого и приниженность от этого со-



знания.

Многое объяснил мне один эпизод из жизни доктора, рассказанный как-то им самим.

Он кончал тогда гимназию. Сын бедных людей из мещан, робкий, забитый нуждой и жизнью, он учился и давал уроки, на которые и содержал себя, отца и двух сестер.

И вот неожиданно-негаданно свалилась на его голову беда.

Сосед его во время урока бросил в учителя ком жеваной бумаги. Учитель указал на Колпина, как на виновника, потому что он, учитель, будто бы успел заметить боковым взглядом движение руки Колпина. Колпина исключили.

Никто не сомневался, что бросил сосед Колпина, Ушков, но фактов не было. Ушков, сын богатого купца, наотрез отказался признать свою вину, как ни просил его Колпин. Колпин обращался к отцу Ушкова с просьбой повлиять на сына, но и тот отказал ему.

– Могу поверить, – сказал он, – и доверяю даже вполне, что мой балбес только и мог это сделать; но если, упаси боже, он сознается и его исключат, убью, собственноручно убью. А ежели вы вину на себя примете, то имеете получить от меня двадцать пять рублей на выезд из города.

Тогда в отчаянии Колпин перед всем классом бросился перед молодым Ушковым на колени, до тех пор рыдая и умоляя его признаться в своей вине, пока не потерял сознания от своего первого сердечного припадка.

Ушков не выдержал и признался. Ушкова исключили,

Колпина приняли обратно, а Ушков в тот же день повесился в конюшне своего отца.

Какой след оставила вся эта история на Константине Ивановиче, можно судить по тому, как он передавал ее. Во все время рассказа он был так подавлен, растерян, как будто снова все это переживал.

Та внутренняя преобладающая забота души, которая сидит во всяком человеке, от нравственного качества которой зависит выражение лица человека, выступила на лице его рельефнее: то унижение, которое он пережил, вымаливая себе право на жизнь, то угнетение духа, придавленность, страх жизни, рана сердца от щемящего сознания вины, сознания, что и самый добрый человек своею жизнью уже заел чью-то другую жизнь... И одну ли?..

По мере того как узнавал я нашего доктора, эта характерная черта его – сознание своей вины – вырисовывалась все ярче и в более широких размерах. Как-то болезненно чувствовалась она у него постоянно, в общении со всеми, точно каждый, кто приходил к нему, уже был его судьей, захватившим его врасплох, и все спасение его, доктора, заключалось только в том, чтобы как-нибудь умиловить этого своего судью.

В конце концов вся округа стала этим неумолимым судьей, на которого и работал он, доктор, не покладая рук, все больше и больше подрывая свое здоровье. И сильнее получалось впечатление надломанного и только краешком при-

росшего цветка.

## XV

– Ну-с, – сказал мне однажды Константин Иванович, – теперь вы здоровы, можете выходить. Завтра мое рождение, – милости просим ко мне.

На другой день я поехал к нему.

Это был мой первый выезд после болезни.

Владимир радостно приветствовал меня с козел и поздравлял с выздоровлением.

Чисто с принципиальной точки зрения я заметил ему, что он менее других был виноват в том.

– Ну, что там еще вспоминать, барин, – ответил мне пренебрежительно Владимир, – слава богу, здоровы и вы, и лошадки целы, вы же ездить будете, а то загнал бы...

И мы поехали, и я с жадностью выздоровевшего переживал опять радость сознания, что живу.

Была уже осень. Ясная, светлая, с пожелтевшими листьями, лазоревым небом, зеркальными прудами осень.

В поле редко уже встречались запоздавшие фигуры крестьян, и, напротив, в деревнях все были видны на улицах в спешной работе осеннего ремонта: починяли сани, крыши, возили дрова, лес, молотили на токах. Большинство, впрочем, уже обмолотилось, так как урожай и в этом году был очень плохой.

Но лица крестьян, хотя и угрюмые, не имели той печати

ужаса, какая была в прошлом году: уже знали, что опять будут кормить.

Село, где жил Колпин, находилось верстах в тридцати от меня.

Дом Колпина расположен был сбоку села, на пригорке.

Два-три тощих деревца, задавленные бурьяном, печально торчали из-за полуразвалившегося палисадника; в настежь раскрытых воротах виднелся грязный двор крестьянской конструкции с навесами и плоскушами.

Собственно, и дом самый был не что иное, как та же крестьянская изба, немного повыше, немного пошире с балконом в палисадник.

С этого балкона открывался вид на все село, на церковь, на противоположный высокий гористый берег реки, где повыше расположилось сельское кладбище.

Маленькие три комнатки доктора были полны народом.

Кроме взрослых гостей, было множество детей и чисто одетых, с претензией, и простых крестьянских детей, оборванных и грязных.

Доктор то ходил между своими маленькими гостями, обнимая то одного, то другого, то подсаживался к тем из них, которые рассматривали книжки, объясняя и смеясь, причем вокруг его глаз сбегалось множество морщин, а он, сутуловатый, пригнувшийся, трясся от тихого давившего его смеха.

Когда входили новые дети, доктор вел их к столу, на котором стояли орехи, пряники, карамель, а в столе лежали де-

шевые игрушки.

Гости, и взрослые и дети, чувствовали себя налаженно.

Комнаты не вмещали всех, и, накинув пальто, некоторые из гостей сидели на балконе, по двое на одном стуле, обнявшись, и пели.

Собравшиеся у балкона и во дворе у окон крестьяне слушали, смотрели, а иной входил и в комнаты: постоит и уйдет или подойдет к дешевой олеографии, висевшей на стене, и начнет рассматривать ее.

Гостей угощали родственники доктора: старик отец, одетый бедно, как одеваются простые мещане, сестра его, жена ветеринара, и сестра девушка – молоденькая, хорошенькая учительница, в которой Константин Иванович души не чаял.

Для угощения в углу стоял особый стол с винами, водкой и закуской. Около стола оживленно толпились гости.

Общество составляли: фельдшера с семьями; учительница местного села Татьяна Васильевна, героиня лучшего романа из человеческой жизни, идеальной прекрасной жизни с двадцатипятилетним трудом; ее знакомая учительница из соседнего села; молодой учитель; матушка, румяная, полная, нарядная, по прозвищу розовая; лесничий большого имения, Карл Карлович, завсегда́тай всех собраний, первоисточник всех новостей округа; писарь; несколько мелких землевладельцев; разного рода полуинтеллигентные разночинцы, выбившиеся из деревни же, крестьяне, мещане, ищущие уже не физического труда.

Многих из них я знал и раньше, – одних встречал у Колпина же, другие являлись просить какого-нибудь места, предлагая свои услуги за меньшую цену, чем если бы они являлись в роли разного рода мастеровых.

Знал я их робких, забитых, старавшихся, если и было у них сознательное отношение к жизни, спрятать все это по-дальше, выставляя на вид только свою немощь, свою непригодность к окружающей их жизни.

Но здесь, в гостях у Колпина, люди эти, очевидно, чувствовали под собой почву, чувствовали себя людьми, имеющими право жить, думать, рассуждать.

И они рассуждали, говорили и о своих делах, и о делах крестьян, о земстве, земских начальниках.

Близко стоящие ко всей мелкой деревенской жизни, в значительной степени не удовлетворенные, они старались разобраться и отыскать корень зла.

Я заметил доктору, что еще несколько лет тому назад, когда я был у него, все это общество держало себя иначе. Я видел в этом прогресс жизни.

– Отчасти, конечно, да, но главная причина, мне кажется, в том, что они познакомились с вами больше: познакомились не как с помещиком уже, а как с писателем, своим человеком в некотором роде, которому полезно раскрывать карты.

– Они следят, значит, за литературой?

– Несомненно; многие из них корреспонденты газет.

Доктор указал мне на одного крестьянина, с окладистой

бородой, в русской поддевке, с ласковыми голубыми глазами.

– Он самоучка, любит историю, большой идеалист, не оставляя хозяйство, читает, пишет в газетах, механик-самоучка – изобрел велосипед, между прочим. Сын у него подает большие надежды: литературный талант.

Крестьянин заметил, что разговор у нас с доктором идет о нем, и взволнованно, напряженно насторожился.

– Ах, очень приятно, – торопливо заговорил он, когда мы с доктором подошли к нему, протягивая мне руку по-купечески, как-то сверху вниз, – мы много наслышаны и даже прочитали ваше описание деревни...

Мы сели с ним, и он торопливо заговорил:

– Очень приятно. Я тоже вот пописываю в газеты относительно нашего житья-бытья: о пьянстве, разврате, о нужде. Оно, конечно, слов нет, польза может быть и от земского, если хороший человек и дело наше знает. Вот, если б их выбирали, а то угождает всякий. На днях только вот в самый сев вызывает за двадцать верст сорок человек и по пустому делу; там – скотина потоптала экономическую озимь. И сам говорит: «Дело пустое, – вызываю, чтоб проучить». В страдную-то пору, когда день год кормит: при мировых не было этого.

– Мировые не были судьями и администраторами, – заметил я, – только судьями, – политика не входила в их сферу.

– Или вот, – продолжал крестьянин, – нашего старосту и



сотского вызвал за тридцать верст да и посадил на три дня за то, что без спросу ушли к соседнему землевладельцу, а землевладелец в свою очередь этих оштрафовал за то, что не выполнили взятую работу. Вот и насчет религии: язык славянский непонятный и духовенство. Вот если б, как в первые века, и их выбирать. Вот я вам пример какой приведу. И очень даже интересный, вы, пожалуйста, послушайте.

Мой собеседник, Иван Архипович, вынул платок, прокашлялся в него, торопливо спрятал его опять в карман и, пригнувшись, с удовольствием и расстановкой, делая сильные ударения на о, заговорил:

– Живет у нас женщина Дарья. Вдова она. Лет ей уж, видно, под сорок, но здорова и в работе, можно сказать, первая баба. Но зато и в других делах нечего греха таить: ну, одним словом... четырех ребят нагуляла. Двоих и сама не знает от кого, а последних от нашего же мужика Егора. Мужик женатый, от своей бабы у него четверо. Баба его большое горе приняла от этой самой Дарьи, говорят, от Дарьи и смерть приняла. Я не полагаю этого; просто тоска – жизнь не мила стала. Ну, одним словом, баба померла, и остался Егор с четырьмя малолетками да стариком отцом, да все с той же Дарьей и ее четырьмя. Дарья живет бедно, беднее чего и быть не может: детишки милостыню собирают. Егоровы же дети у Егоровых детей Христа ради просят. Известно, гадится ребенок, что дальше, то хуже, – прямая дорога, как вырастет, в острог: вырастет, узнает все, благодарить отца будет. Нехо-

рошо все это. Сам Егор, грех сказать, мужик хороший: только вот эта слабость с Дарьей. Казалось бы, чего проще: померла хозяйка, жениться на Дарье, да вместе и замаливать свой грех. И работница Дарья за троих. Так и порешили они с Егором, да не так решил батюшка. «Ты, говорит, женщина непутная и дети твои набалованные, – зло покойнице при жизни делала, хочешь и после смерти на ее детях вымещать? Под сосной венчайтесь, а я вас венчать не стану». Не стану да не стану. Слов нет, может быть, и верно он говорит, да что же делать? Мужу без бабы никак нельзя: покорился попу Егор, отыскал в другом селе невесту, хорошую, тихую, не так, чтоб молодую, ну так ведь и сам-то сам-шесть. Приехала невеста на смотрины – честь-честью, а тут Дарья поленом дрясь в окно: все стекла выбила. Выбила и говорит: «Вот это вам для начала, мало, – сожгу, а если повенчаетесь, снесут туда же, куда и первую унесли». Невеста из избы вон. И больше уж нет охотниц за Егора идти. Выбился мужик из сил: завшивел сам, дети завшивели. Все село, сами родные покойной уже стали просить батюшку обвенчать Егора с Дарьей. Нет! Конечно, худо и так и этак, а только что дело это ведь их да боже, бог бы и рассудил их, а людям бы не след мешаться. Оно, конечно, ко благу будто, да ведь и в крепостное время – все ведь будто как ко благу, да вот отставило правительство опеку, нашло, что и своим умом может прожить человек на свете.

Иван Архипович замолчал, но не надолго. Рад, что до-

рвался до человека, который слушает его.

Он энергично повернулся ко мне и, смотря в упор, продолжал:

– Случай верный, и ни одного слова в нем неправды нет. И все знают этот случай, и человек этот сейчас жив, хоть сейчас и человеком его назвать не приходится, а прямо хоть жми с него водку. Трех лет его наши мужики привезли из лесу. Рубили дрова в лесу, глядь, выходит из лесу мальчик. Чей – неизвестно. Так и по сю пору неизвестно. Был слух, что приезжала какая-то баба с мальчиком, бросила ли, потеряла... Привезли мужики мальчика в деревню, так и жил он с тех пор, как приبلудная собачонка, по избам. С десяти лет сдали его миром в подпаски, и стал он гонять свиней. Вырос, сам пастухом стал. Приписали его к обществу, стал крестьянином. Охотник до церкви был, выучился у дьячка грамоте. В нашей стороне раскольников много. Приехал раз миссионер, и назначили к нему в услужение безродного этого самого, из лесу. Дальше – больше, стал миссионер брать его с собой на беседы с раскольниками, а потом и одного уж стали посылать. И так он знал святое писание, что раскольник ему текст, а он ему три. Так что ж вы думаете? Экзамен сдал на миссионера, а года через три этот начальник его миссионер выхлопотал ему место попа в Уральске к казакам; они все там раскольники. Ну и вот, мир не отпустил. И раньше завидовали: «Что такое, свиной подпасок выше нас хочет быть?» Всякую каверзу ему делали, – в холерный, лет

десять назад, год чуть не убили его за то, что полиции помогал больных разыскивать... Не пустили... Насчитали на нем недоимки шестьсот рублей: заплати, тогда и иди на все стороны... Просился на рассрочку – не пустили. Стал пить, – теперь пьянее его и на селе нет, – без просыпу, валяется по кабакам да под заборами, а те радуются: «Хотел больше нас быть – последним стал».

Иван Архипович круто оборвал:

– Извините, пожалуйста, заговорил я вас. Как начну, ведь не удержусь, а этого ведь никогда не кончишь. Лучше уйти...

И он быстро ушел от меня в другие комнаты.

Его молча проводил глазами маленький господин с испитым лицом, вздернутым задорно носом, и, заложив руки в карманы, уверенно подошел к высокому, широкоплечему, сухому и сильному человеку в рубаше косовороткой, поверх которой был надет поношенный пиджак.

– Ну, что, Ваня, – лениво проговорил маленький, – выпьем, что ли...

– Выпьем, – согласился высокий, и оба пошли к столу.

Они выпили, закусили и отошли к молодому человеку, одиноко сидевшему недалеко от меня.

– Шурка, не грусти, – хлопнув его по плечу, присаживаясь, сказал высокий.

Присел и маленький.

Молодой человек в ответ кивнул головой и добродушно сказал:

– Ладно, не буду. Давай так условимся: я грустить не стану, а ты водку брось пить.

– А мне что? Только и всего, что бросил.

– Бросил? Честное слово?

– Говорят тебе, бросил.

– Нет, честное слово?

Высокий махнул головой и пренебрежительно ответил:

– Честное слово.

– А я с кем же пить стану? – спросил маленький.

– А ты тоже брось, ей-богу, – посоветовал молодой человек.

– Ладно, пройдет это с вами, – ответил маленький.

– Кто эти? – спросил я у доктора.

– Этот вот маленький, – начал объяснять мне подсевший ко мне доктор, – фельдшер Петр Емельянович Снитков, этот юноша – учитель Александр Владимирович Писемский, а этот высокий – агроном, управляющий одного здесь имения, Иван Андреевич Лихушин. Все трое друзья-приятели. Лихушин и Писемский фигуры очень интересные для вас, как для писателя, так и для хозяина: Писемский – учитель с огнем и верой в дело, Лихушин – прекрасный агроном, теоретик и практик, и тоже влюблен в свое дело. Человек больших способностей. Он уже несколько лет хозяйничает здесь в одном имении, но, к сожалению, владельцы его народ обедневший и, как все здесь, не верящий в высшую культуру.

Агроном по образованию и к тому же практик – этого в

наших местах я еще не видал ни в земстве, ни в частных хозяйствах.

И так как я уже решил приняться снова за хозяйство, и хозяйство культурное, то понятно, что такой человек, как Ли-хушин, сочетавший теорию и практику наших мест, заинтересовал меня.

Я попросил доктора нас познакомить и через несколько минут уже сидел возле них.

– Скажите, пожалуйста, – спросил меня, когда я подсел к ним, для начала маленький фельдшер, закладывая ногу за ногу и теребя свою бородку, – вот мы прочли ваш очерк нынешней зимой «Несколько лет в деревне» – это ваше первое произведение?

– Первое.

– Что ж это вы так поздно надумали взяться за перо? Интересно в вашем писанье то, что вы пишете из действительной жизни. Собственно, жгли вас, как я понял, за то, что вы мешались в жизнь крестьян, хотели устроить ее по-своему, как вам лучше казалось... Вам, а не им, – улыбнулся фельдшер, тыкая в меня пальцем. – Ну и что же, какой же вывод получился у вас теперь?

– Я не мешаюсь больше, – ответил я, – в жизнь крестьян.

– Да, – заметил Петр Емельянович, – крестьяне, положим, и сами говорят это... на базарах даже хвалятся: «Проучили мы, говорят, княжеского барина, – рубаха, а не барин стал...»

Все рассмеялись; рассмеялся и я.

– А затем, – продолжал я, – я решил заниматься снова хозяйством.

– Хозяйством выгодно заниматься, – ответил Лихушин, – если есть деньги, если поставить хозяйство на научных основаниях, следить за последними требованиями рынка, тогда нет выгоднее этого дела, а так, как мы вот, по-мужицки...

– Но если все опять займутся таким делом, то опять будет убыток, – заметил Петр Емельянович.

– Будет хорошее хозяйство, – наставительно ответил ему Лихушин, – будет хлеб, скот, будет богатство вместо нищеты.

– Ну, тебе виднее, – кивнул фельдшер. И сказал по поводу проходившего доктора:

– А нехорошо выглядит наш доктор. Да где ему и выглядеть хорошо? *Vitium cordis* в полном разгаре.

– А ты не пугай, – заметил ему Лихушин, – говори по-русски.

– Порок сердца, – перевел фельдшер.

– Наследственный или благоприобретенный?

– Нажитой... Нельзя было и не нажить, – этакую семейку вытащить на своих плечах, урочишками, да и сейчас всякого народу, которого тащит еще больше... Там мать, помирая, просила не оставить сирот, школьные ребятишки, вот Настюша воспитанница в гимназию уже ходит. Так все жалованье между рук и проходит... Да и велико ли жалованье?

Больной придет: себе хлеба, лошади сена... «Константин Иванович, слышь, сенца-то беремья лошадке-то возьму у тебя?» – «Бери, если есть». Ведь продал лошадь, потому что отказать не может, а из-за одной лошади расход такой пошел на сено... Лошадь бросил держать, а есть не бросишь; кто ни попросит: «Бери».



## XVI

Поговорить с Лихушиным относительно хозяйства так и не пришлось в тот раз. Мы только условились с ним, что я с доктором как-нибудь на днях побываю у него.

Вскоре мы с доктором действительно навестили Лихушина и учителя.

Сами хозяева никогда в этом имении не жили. Когда-то владельцы эти были очень богатыми людьми, и клочок земли в две тысячи десятин не представлял для них никакой цены.

Но главное имение с оранжереями и садами было продано, продавались один за другим и придатки, пока не остались только те две тысячи десятин, на которых хозяйничал случайно попавший к ним Иван Андреевич Лихушин.

Иван Андреевич, приехав несколько лет тому назад, застал только избу караульщика.

Все это дорогой рассказал мне доктор.

– Ну, вот и Апраксино, – сказал доктор, когда мы взобрались на последний пригорок.

И сразу почувствовалось что-то иное, совершенно отличное от тех тощих полей осени, которые мы оставили за собой.

Имение начиналось живописной местностью – перелесками.

Поля между этими перелесками, по которым извивалась наша дорога, несмотря на осень, ярко зеленели. Белые ство-

лы берез на этой зелени казались еще белее. Свежестью дышал молодой расчищенный лесок и эти поля, и самый закат, казалось, задержался здесь на ярком фоне.

Скоро, впрочем, опять потянулись обычные темные поля осени.

Я сперва принял зелень за озимь.

– Это люцерна, – сказал доктор.

Та люцерна, которую столько лет я пытался и бесплодно развести у себя. Люцерна – одна из нот громадного клавино-корда культурного хозяйства.

Мы уже подъезжали к усадьбе.

На совершенно ровной местности, около пруда, своими размерами напоминавшего тарелку, возвышалось с этой и той его стороны несколько простых одноэтажных деревянных построек.

– По ту сторону, – говорил мне доктор, – приемный покой, школа, а сюда ближе экономические постройки.

Там около школы и больницы виднелась зелень молодого сада и даже клумбы с осенними цветами. Здесь же около экономических построек все было серо и даже грязно.

Мы въехали на обширный двор, примыкавший прямо к пруду.

Флигель, изба, еще какие-то постройки из осины, уже принявшие грязно-серый цвет, торчали там и сям во дворе в каком-то странном беспорядке.

Торчали так, словно вызвали их, поставили и забыли по-

том о них.

Рабочий вывел из-под навеса жеребца – сухого, сильного, с раздвоенным задом.

– Это его арден, – сказал доктор и крикнул рабочему: – А что, Иван Андреевич дома?

– Нет, дома нету, – в поле.

– А учитель?

– Учитель должен быть в школе.

– К нему поедем? – спросил доктор.

– Ну что ж, к нему.

Писемского мы застали в школе, окруженного ребятишками.

Школа была отстроена, что называется, начерно и состояла из четырех комнат: собственно школы, мастерской, комнаты учителя и смежной с ней переплетной.

Самая большая была школьная комната, высокая, светлая, со множеством окон.

Осеннее солнце, заходя, приветливо красноватыми лучами играло на стенах, на полу, на детских головках.

Во всей обстановке чувствовалась налаженность, уютность, равновесие. Напрашивалось сравнение со стадом и опытным пастухом, расположившим вокруг себя это стадо.

– Батюшки, кто приехал, – весело сказал учитель, увидев доктора, а когда за доктором показался и я, он смущенно прибавил: – Да, и вот еще кто...

Мы пожали друг другу руки, и учитель сказал, обращаясь

к детям:

– Ну, сделайте, что хотите, а мы вот с гостями уйдем ко мне чайничать.

– Ладно, – ответило ему покровительственно несколько голосов.

После этого, как будто неохотно, учитель обратился к нам:

– Ну, милости просим ко мне, господа... Уж не взыщите только – живем плохо...

– А вот увидим, увидим, – сказал доктор, входя в его комнату и, по привычке к низким дверям, наклоняя голову.

– Насчет этого без опаски, – усмехнулся Писемский, заметив движение доктора.

Большая комната учителя имела очень мало мебели: кровать, стол, два стула да шкаф некрашенный, еще не остекленный, весь наполненный книгами.

– Библиотека вот недурная, – без малого всю Иван Андреевич пожертвовал нам...

Библиотека действительно оказалась недурная. Кроме детских, было много книг, которым позавидовал бы любой интеллигент.

Я выразил по этому поводу удивление.

Писемский рассмеялся и ответил:

– На днях земский заехал тоже попить чайку и тоже обратил внимание на библиотеку. Теперь и побаиваюсь.

– Это уж новый, Горянов? – спросил доктор.

– Он, – лаконически кивнул головой учитель.

– Кажется, симпатичный? – спросил доктор. – Говорит о прогрессе.

– Вот увидим, – уклончиво ответил учитель, – садитесь, господа.

Мы с доктором сели на стулья, учитель на кровать.

– Иван Андреевич как? – спросил доктор.

– Мучается, – усмехнулся учитель.

И, помолчав, нехотя, заговорил полусерьезно:

– Да ведь в самом деле: ведь это богатырь, размах какой... Горы бы ему ворочать, а вместо этого игрушечные размеры каких-то жалких попыток с людьми, которые не понимают и не хотят понимать...

Молодой безусый Писемский, светлый блондин, горбился, постоянно смущенно проводил по своим коротко остриженным волосам и старался казаться старше своих лет. Он говорил тихо, убежденно, слегка нараспев. Но иногда вдруг сразу слетал с него серьезный тон, и он улыбался по-детски, удовлетворенный и счастливый.

Он застенчиво спросил меня:

– У вас теперь, кажется, нет школы?

– Собираемся строить.

– А учитель есть?

– Нет еще. У вас школа ремесленная? – спросил я в свою очередь.

– Да, только средств мало, а ребяташки охотятся.

– Какие у вас ремесла?

– Да теперь пока переплетная, – я сам учу, – столярная. Иван Андреевич хочет с весны завести образцовые поля, да не знаю, как владельцы: денег у них уж очень мало, – ничего почти не дают на школу, – так из ничего и делаем, Иван Андреевич больше на свое жалованье. – Учитель пригнулся, хихикнул и развел руками. – А так можно было бы; есть замечательно способные, да, главное, охотятся, – все, положительно все.

Он помолчал и продолжал:

– Вот пчеловодство начали: Иван Андреевич раскошелился – дадановский улей нам выписал.

Он опять рассмеялся, вытянул руку и размашисто ударил другой по ней.

У людей, преданных своему делу, особая манера говорить, особый голос.

Как-то сразу это чувствуется, сразу заинтересовываешься их делом. Мелочь, мимо которой прошел бы и не заметил, в таком освещении становится яркой и красноречивой.

Как у хорошего повара из самой простой провизии выходит вкусно и аппетитно, так и у Писемского было уменье, была способность придавать вкус и аппетит своему делу. Делалось это как-то незаметно, само собой.

Через полчаса мы уже чувствовали себя здесь своими людьми.

В соседней комнате, отделенной от учительской только легкой переборкой, уже давно слышалась какая-то возня.

Учитель все время прислушивался и иногда улыбался про себя. Он не выдержал наконец и, подойдя к дверям, с нескрываемой улыбкой удовольствия посмотрел в открытую дверь. За ним заглянули и мы.

Учитель весело прошептал:

– Ишь, шельмецы...

В соседней комнате на столе кипел только что поставленный громадный самовар. Кипел весело, энергично, выпуская во все отверстия пар. Вокруг самовара суеилось несколько подростков учеников.

Один заваривал чай, другой держал рукой кран самовара, чтоб запереть его вовремя, третий расставлял чашки, а один, откусив здоровый кусок полубелого хлеба, жевал его энергично, взасос. Еще один, ни на кого не обращая внимания, лежал на кровати и читал какую-то книгу.

Заметив учителя, а главное, нас сзади, все смутились.

Учитель тихо объяснял нам:

– Это они из заработка кутят; тут из соседней экономии работу переплетную давали.

– Хлеб-то хороший? – спросил он у того, кто уплетал его большими ломтями.

– Хороший, – с полным ртом хлеба отвечал мальчик.

– Ну, ешьте и пейте, а напьетесь, к нам тащите самовар...

– А ты бери, что ль, теперь его, Шурка, – предложил маленький с острыми глазками мальчик.

– Ну, ладно, – ответил учитель, – мы сейчас еще не станем,

ждемся Ивана Андреевича.

Учитель затворил дверь и заговорил, ни к кому не обращаясь особенно:

– Казалось бы, прямая выгода всем землевладельцам лично для себя заводить школы: ведь новая культура неизбежна, и нужны новые работники. Главным образом тут не идет у Ивана Андреевича дело не потому только, что не дают, не веря в эту культуру, ему денег, а потому, что и соответствующих рабочих нет: там машину сломал, там лошадь опоил, там корову упустил в мирской табун... то все, что здесь, конечно, еще пустяки, а если всю новую картину взять, – без новых людей откуда она возьмется? И положение такое, что приходится не дело делать, а тратить время и силы на то, чтоб Христа ради собрать, или хозяина земли убеждать в его же пользе. По подписке на постройку школы собрали, на счет Ивана Андреевича обставили – только лес барский.

– Вы много жалованья получаете?

– Восемь рублей и месячное.

– Владельцы платят?

– Владельцы месячное выдают, а жалованье из церковно-приходских сумм.

– Это церковно-приходская школа?

– Да. С одной стороны, в ней, конечно, больше свободы, чем в земской.

– Неужели?

– Гораздо больше, – мрачно, как эхо, повторил, входя в это



время, громадный, широкоплечий Иван Андреевич. – Конкуренция у них с земством, а прав смотреть сквозь пальцы больше...

Там у доктора среди гостей размеры Лихушина скрадывались. Здесь он вырисовывался во весь свой рост, сильный, стройный, широкий в плечах, сухой и жилистый. Карие большие глаза напряженно смотрели из глубоких орбит, нижняя губа как-то пренебрежительно выдвинулась вперед. В то время как мягкая бородка и вьющиеся на голове волосы придавали всему лицу что-то молодое и нежное, энергичный сдвиг бровей сильный загар, глухой голос, напротив, производили впечатление мужества и силы. В глазах эти контрасты лица слились, производя сложное притягивающее впечатление... Было что-то удалое, и властное, и ласковое, как у женщины.

Поздоровавшись, он сел на кровати рядом с учителем и угрюмо сказал ему:

– Ну-ка, прочти, что нам пишут.

Учитель взял и стал внимательно читать. Прочитав, оч молча возвратил письмо.

– Ухожу, – решительно, односложно бросил Иван Андреевич.

– Слыхал, – усмехнулся учитель.

Иван Андреевич резко обратился ко мне:

– У вас, кажется, есть свободное место учителя.

– Есть.

– Возьмите меня.

– У меня и управляющего место свободно, – ответил я, радостно подумав, что вовремя приехал.

– Вы не шутите?

– Совершенно серьезно.

– Согласен.

Лихушин сверкнул глазами и протянул мне руку. Учитель растерянно спросил его:

– Взаправду?

– Видишь, – не смотря, бросил ему Лихушин.

– А не выйдет, что я вас сманиваю? – спросил я Лихушина.

Лихушин вспыхнул.

– Крепостной я, по-вашему, что ли? Мне вот предлагают распродать все: арденов, симменталов, деньги выслать, а на будущее время, если и сеять, то исключительно крестьянским инвентарем, который-де дешевле...

## XVII

Дней через десять Лихушин совсем переехал в Князевку. Перед этим он был у меня три раза, отобрал у меня план имения, ездил со мной по полям, брал с собой образцы почвы.

Приехав, он пришел ко мне с кучей своих проектов и заявил:

– Сегодня я хочу вас познакомить со всеми моими планами по крайней мере на двенадцать лет вперед. Необходимо прежде всего условиться нам, чтоб работать по определенной, выясненной совершенно программе. И раз мы ее примем, тем самым примем и нравственную ответственность за ее выполнение.

Я с интересом следил за Лихушиным, когда раскладывал он на большом столе все свои бумаги.

А Лихушин между тем продолжал свое вступление. Он весь ушел в себя, большие карие глаза его напряженно горели, а нижняя губа еще больше выдвинулась вперед и, казалось, сильнее подчеркивала выражение пренебрежения. Говорил он, волнуясь, гулко, скороговоркой:

– Владельцы, имение которых я оставил, может быть, и имеют основание быть недовольными мной. Дело в том, что в сельском хозяйстве меня интересует прежде всего вся совокупность дела. Я не имел средств для этого, и волей-неволей мне пришлось ограничиться чисто опытной деятельностью.

Я выяснил, например, секрет наших мест. Каждая местность имеет такой секрет; узнать его и значит взять быка за рога, стать хозяином дела. Помимо почвенного анализа, совокупность остальных факторов – климат, влажность там и другое – создают успех того или другого растения. Так, скажем, Новоузенский и Николаевский уезды Самарской губернии – родина пшеницы. Ирбитский уезд Пермской губернии – сплошной конопляник, Псковская губерния родит лен. Наши же места исключительно бобовые: горох, чечевица, люцерна, клевер. Это свое открытие я сделал прежде всего, наблюдая дикую природу, затем и опыты с чечевицей, люцерной, клевером тоже подтвердили мои предположения.

Он сдвинул брови, уставив глаза в какую-то точку, и сидел некоторое время как бы в раздумье.

Прихлебнув горячий чай и слегка поморщившись, он продолжал:

– В данном случае это потому важно, что бобовые злаки так же ценны теперь на рынке, как и масличные. В больших размерах поставленное дело дало бы большие выгоды, а в тех опытных размерах, в каких стояло до сих пор у меня, оно не давало ничего, – для чечевицы, например, для выгодного сбыта ее, необходимы непосредственные сношения с Кенигсбергом, Данцигом, из-за одного вагона не заведешь их, и приходится отдавать за полцены перекупщику здешних мест. Если бы еще была близко железная дорога – явились бы конкуренты, а когда она в восьмидесяти верстах, кого за-

манишь, а привезешь в город, ты уже в их руках. Вообще нет ничего убыточнее опытного культурного хозяйства: один симментальский бык, два ардена, три йоркшира, одна жатвенная машина и прочее. Нужны опытные люди, масса накладных расходов; все это может оправдаться только размерами дела.

– И даст выгоду?

– Несомненно. В силу одного того уже, что арена пуста совершенно, громадный спрос на все продукты высшей культуры. Но это временно, конечно.

– Как временно?

– Десять – пятнадцать лет.

– А затем?

– А затем явится столько конкурентов, что цены сойдутся. Можно следить, конечно, за мировым рынком, постоянно восполняя то, в чем чувствуется недостаток. Например, в этом году рапс пропал везде, – это было известно уже в середине мая, то есть самое время посеять его у нас. Я посеял полдесятины, и он дал сто пудов. Пуд на месте рубль шестьдесят пять копеек. Все поля засеять рапсом – сразу целое состояние. Но это хозяйство хищнически промышленное, – от такого я отказываюсь, – я могу только отчасти восполнять его. То есть в масличном поле сеять то, на что наибольшее требование.

– Как велик оборотный капитал, который требуется на десятину?

– Сто рублей.

– Сколько эти сто рублей будут приносить доходу?

– Первые пять лет ответственность за доход я не беру на себя, он может быть и не быть, мы будем в таких же случайных условиях, как и все. В пять лет я надеюсь поднять настолько плодородие почвы глубокой пашней, удобрением, орошением (сперва, конечно, обводнением), уничтожением сорных трав, что все это, не сомневаюсь, принимая во внимание при этом бездеятельность масс и, следовательно, пустую арену, даст в среднем не менее двадцати пяти процентов чистого дохода, а при большей интенсивности и больше еще.

– То есть?

– Если все сырье, по возможности, мы станем перерабатывать у себя же. Вместо ржи будем вырабатывать пеклеванку, вместо пшеницы – крупчатку, хотя бы для местного употребления. Вместо сливочного масла – сыр. Ценным кормом: люцерной, клевером будем выращивать и откармливать племенной скот. Значительно возросла бы доходность, если бы в нашем имении была быстанция железной дороги. Увеличение доходности на десятину вот что дало бы. Допустим, сто пудов уродилось. При теперешней гужевой перевозке около ста верст это стоит, принимая во внимание к тому же спешность, не менее пятнадцати копеек с пуда, при железной же дороге разница между здешней станцией и сто верст ближе при транзите составит не больше одной копейки, следова-

тельно, одна перевозка даст четырнадцать рублей выгоды на десятину, и, следовательно, при ваших предполагаемых посевах в две тысячи десятин вы уже имеете лишних двадцать восемь тысяч рублей.

– Да, – заметил я, – это то, что называется косвенная выгода железных дорог, которой и до сих пор у нас не принимают в соображение при постройке дорог и которая во много раз покрывает все видимые убытки наших дорог.

– Теперь, – продолжал Лихушин, – мы перейдем к детальному рассмотрению двух систем: девятипольной и двенадцатипольной. Девятипольная с клевером, предполагая трехлетнее его произрастание, и двенадцатипольная с люцерной, оставляя под ней поля на пять лет, хотя в наших местах она растет на том же поле и до десяти лет. Так как клеверных полей у нас немного сравнительно, то займемся прежде двенадцатипольной системой.

Мы перешли к рассмотрению планов двенадцати- и девятипольных систем хозяйства.

В двенадцати экземплярах перечерченный план, покрытый разными красками, представлял из себя севооборот на первые двенадцать лет.

Вот этот севооборот.

В первый год пар с удобрением.

– Удобрение, – объяснял Лихушин, – навозное с обязательной примесью костяного, так как главное, что веками извлекалось из наших почв и никогда не возвращалось, это, ко-

нечно, фосфор и калиевая соль. Навоз нужен, главным образом, не так, как азотистое, потому что и бобовые дадут этот азот достаточно, а как греющее, поднимающее деятельность почвы, вызывающее более энергичные, необходимые почве химические процессы. Затем, конечно, навоз необходим как влагоудержатель.

Второй год – рожь.

– Рожь, конечно, не простая, – заметил Лихушин, – для наших мест вальдендорфская и ивановская: натура сто двадцать пять – сто тридцать. Она и родит процентов на тридцать больше и в продаже, как более тяжелая, дороже копеек до пяти на пуд. Это одно при машинном способе уборки оправдывает расход и молотьбы и уборки.

Третий год – мак и лен.

К этому пункту Лихушин заметил:

– Я поставил сильно истощающие сейчас же после ржи, чтоб использовать выгоднее ту часть удобрения, которая для последующих злаков в их сменном порядке особой роли играть не будет. Мое мнение сеять так: по осенней вспашке мак. Враги мака действуют с ранней весны, и если мак уйдет от них, он тогда почти вне опасности. Если же он погибнет, то мы успеем посеять его льном. Я забыл прибавить, что и мак и лен очищают почву от сорных трав и в этом их полезная, а для наших почв и прямо необходимая сторона.

Четвертый – под корнеплод.

– Лучшее всего, конечно, свекла, – заметил Лихушин, – она



требует и глубокой пашни и опять-таки энергичной очистки от сорных трав. Как от плодосмена, громадная выгода. Но сахарный завод от нас в восьмидесяти верстах и, конечно, немыслимо на таком расстоянии перевозить этот груз гужом. Восемьдесят верст для свеклы по железной дороге одна копейка, а гужем одиннадцать – двенадцать копеек, при цене пятнадцать копеек за пуд, конечно, невыгодно. Придется остановиться на картофели.

– Что же с ней делать? – спросил я.

– Винокуренный завод.

Я молча замотал головой.

– Паточный, переделывать в муку, откармливать скот; но без корнеплодов наше дело не пойдет.

Пятый год – тарелочная чечевица и горох Виктория.

– Здесь необходима срочность доставки, – заметил Лихущин. – В Кенигсберг и Данциг купцы, покупающие чечевицу, съезжаются к августу и к ноябрю разъезжаются. Под конец всегда цена падает и к ноябрю падает процентов на тридцать. При гужевой доставке мы, конечно, к сроку не попадем никогда.

– Значит, опять железная дорога? – спросил я.

– Без нее трудно с культурным хозяйством.

– Если и совсем не невозможно. Шестой год – подсолнух.

– В первый севооборот, – заметил Лихущин, – я два раза ввожу масличные. Прежде всего все с той же целью – уничтожение сорных трав, затем против подсолнуха у нас в зна-

чительной степени существует ложное предубеждение. Если взвесить все обстоятельства, то подсолнух при правильном его использовании приносит почве больше пользы, чем зла. Говорят, подсолнух истощает почву и главным образом за счет калиевых солей, но корень подсолнуха уходит в почву на три четверти аршина, и свой кали он берет оттуда, из того сундучка, которого, все равно, людям не достать. Этот кали он сосредоточивает в стебле своем, главным образом в шляпке своей, и только часть его, сравнительно меньшая, уходит в зерна. Если, следовательно, эту шляпку и стебель пережечь и возвратити назад почве, то мы только сделаем выгодное перемещение из подпочвы в почву. А глубокая пашня, полка, закон оттенения – все это тем более улучшит землю.

Седьмой год – пшеница или овес, а по нем люцерна.

– То есть овес или пшеница уберутся, а люцерна останется. Если и просто пустить в залежь, то земля несколько лет, кроме бурьяна, ничего не даст, а при люцерне на следующее же лето получается уже два прекрасных укоса, дающие до двухсот и более пудов сена, при котором овса уже не надо.

– Зачем же нам сеять тогда овес?

– Мы будем сеять овес не простой, а шведский, селекционный, из которого вырабатывается лучшая овсяная мука, – вот эти все геркулесы. Натура у этого овса почти как и у пшеницы, родит он у нас двести пудов, тогда как простой и ста не дает. Вот еще доказательство, что подсолнух изредка –

только улучшает почву: после него всякий хлеб родит гораздо лучше.

Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый – люцерна.

– Последний год люцерны на семена: она дает до двадцати пудов с десятины семян, цена которых семь рублей за пуд. А на следующий год пар и еще один укос люцерны не в счет. Я пробовал сеять и сразу люцерну, но травы в наших местах так сильны, что они глушат ее, а при такой подготовке трав сорных нет, – после пяти лет только появляется пырей, оттого я и назначаю пять лет для люцерны, что засоряется опять почва, а пять лет совершенно достаточно для восстановления почвы: люцерна дает ей массу азота, корни ее так пробурывают землю аршин на десять и уплотнят, как коренной залог, и свойствами эта земля из-под люцерны не уступит залогу...

Многое из того, что сообщал мне Лихушин, я знал, но у меня не было того ценного, что было у Лихушина, того, что достигается только систематическим образованием – системы. И больше, чем когда-либо, сознавал я, что в агрономии, несмотря на многолетнюю свою деятельность, я только дилетант, который поймет, но не заменит собой Лихушина.

Результатом разговора нашего с Лихушиным было то, что я дал ему свое полное согласие.

Относительно нужных для дела средств не было другого выхода, как, помимо личного кредита, привлечь своего рода

акционером, род товарищества на вере с ответственностью за капитал и с участием в прибылях.

В числе привлеченных мною к делу был и Наум Дмитриевич Юшков, тот самый русский американец, о котором я уже упоминал в своем очерке «Несколько лет в деревне».

Мы заключили с ним такую сделку: я, выплатив ему половину стоимость его дела, вошел с ним в компаньоны по мельнице. Устройство вальцевого отделения мы произвели тоже на половинных расходах. На торговые обороты я внес пять тысяч рублей, но так как для них требовалось не менее ста тысяч, то Юшков, вносящий третью часть, пригласил еще одного своего родственника, капиталиста в третьей доле, который за прием его ссужал меня недостающим мне капиталом из шести процентов годовых.

Все мельничное дело повел, конечно, Н. Д. Юшков, как человек и опытный и пользующийся безукоризненной и вполне справедливой репутацией.

## XVIII

Устроив денежные дела, я решил добиваться железной дороги.

Железные дороги – моя прямая специальность, и я решил добиваться дороги, заинтересовав ею земства.

Наметив четырехсотверстную линию, проходившую через две губернии и захватывавшую пять уездных земств, я обратился в эти земства, предлагая им тип дешевой узкоколейной железной дороги.

Вот какие основания я приводил.

Проектируемая дорога не может располагать грузом большим, чем четыре миллиона пудов в год.

Для ширококолейной дороги этот груз ничтожный; для оправдания процентов на строительный капитал и расходов эксплуатационных ей нужен груз по крайней мере в пятнадцать – двадцать миллионов пудов.

При таких условиях приходится или отказаться совсем от дороги, или помириться с более скромной – узкоколейной.

Пусть она будет ходить тише, пусть будет перегрузка, все-таки это гораздо лучше, чем отсутствие дороги.

Я писал, что в данном случае действую эгоистично, имея в виду и свои личные выгоды. Но эгоизм свой признаю вполне законным, так как предлагаемый мною тип дороги не ляжет бременем на государство, а при таких условиях он везде, где

только производятся посевы, оправдывает себя и, следовательно, является достоянием всех. А если нам как инициаторам и достанется первым по времени такая дорога, то это будет только актом справедливости.

Самый способ выполнения я проектировал так: земство и частные владельцы гарантируют ежегодно известную доходность, достаточную как для погашения процентов на строительный капитал, так и на текущие эксплуатационные расходы, и под эту гарантию уже искать частных или казенных капиталов.

Та отзывчивость, какую я встретил во всех земствах, лучше всего показывала назревшую потребность в таких железных дорогах.

Потребность совершенно понятная, если вспомнить, что конкурирующая с нами страна, Америка, имеет среднее удаление сельскохозяйственных ферм от пунктов сбыта пять-семь верст, а у нас на лошадях приходится подвозить к железной дороге в среднем до ста верст. Это одно уже делает разницу в двенадцать – четырнадцать копеек на пуд в пользу Америки. Если принять во внимание весь наш двухмиллионный хлебный груз, слагающийся в двух третях своих из такого обесцененного гужевого перевозкой груза, то одной той суммы, которая приплачивается ежегодно на гужевую перевозку, хватило бы на оплату процентов того капитала, который нужен на всю сеть (сто пятьдесят тысяч верст) недостающих нам подъездных железных дорог. Что до косвенных

выгод, происходящих от увеличения ценности земельной, от роста экономической жизни, то они в десятки раз окупают все затраты на железные дороги.

И тот энергичный отклик, который я получил от всех пяти земств, представляет ясное доказательство, что земства наши находятся на высоте экономических требований времени.

На всех этих пяти земских собраниях решено было поддержать мой проект и поручить мне делать изыскания с весны.

## XIX

Небывалая еще до того в Князевке жизнь началась с весны. Собирались изыскательские партии; действовал Лихушин со своими.

Появились всевозможные сельскохозяйственные орудия: плуги Сакка, рядовые сеялки, всех родов бороны, сенокосилки, машины жатвенные, молотильные, сортовальные; пришел рабочий скот и выписанный племенной; все имение разбивалось на хутора, и шла оживленная работа по постройке зданий – жилых, для машин, амбаров и сушилен; прудились овраги и речки для будущего орошения. Работа кипела и в поле. Лихушин, ставя идеалом своевременность посева, торопился и нагнал сотни людей и лошадей.

– Это все оправдается, – бурчал он своей скороговоркой.

Черные поля представляли яркую и оживленную картину.

Тянулись нескончаемые вереницы бычьих плугов; на горизонте стройно, как войска, двигались рядовые сеялки, сотни конных борон тянулись друг за другом в своем обычном водовороте, группы баб и ребятишек, саживших подсолнухи, похожи были в своих пестрых рубахах и сарафанах на цветы.

Над всей этой яркой картиной стояло сочное голубое небо, от согретой земли шел легкий пар, и насыщенный им воздух рябил и млел в лучах весеннего солнца.

Надо знать неподвижность деревни, отсутствие всякого



представления здесь о времени, чтобы оценить энергию, нужную для того, чтобы вызвать такую кипучую жизнь.

Виновник, – Иван Андреевич Лихушин, действительно, проявлял энергию, превосходившую всякое представление о деятельности человека.

Я не знаю, когда он спал. Все дни он проводил в поле, поспевая везде, а вечера и большую часть ночи, отдав нужные распоряжения на завтрашний день, проводил в комнате своих помощников и изыскателей, принимая и в их жизни деятельное участие, в их песнях, спорах и разговорах.

– Да идите вы спать, – говорил ему доктор студент, – железный вы, что ли, в самом деле?

За столом у Лихушина собиралась веселая компания, человек в двадцать.

Пили водку, закусывая ее луком, ели щи, вареную говядину, ели с аппетитом, уничтожая груды хлеба и мяса. Ели хорошо, а спорили еще лучше.

Компания состояла из студентов-изыскателей, ожидавших начала работ и пока бездействовавших, трех практикантов-агрономов, одного студента медика, которого все называли доктором, и студента ветеринара, он же и кассир. К компании примыкали и Лихушин и его помощник агроном, молодой, болезненный неврастеник, и бухгалтер, маленький, кудрявый, заводивший какую-то в высшей степени сложную бухгалтерию.

Практиканты-агрономы держались особняком и только по

праздникам принимали более деятельное участие в жизни остальной компании.

Душой компании был из «выгнанных» студент Борис Геннадиевич Свирский, или просто Геннадьич, как называли его все.

Высокий, длинноногий, нервный и впечатлительный, как женщина, Геннадьич постоянно волновался и кипятился. Середины у него никогда не бывало: или любить, или ненавидеть. И нередко бывало так, что тот, кого сегодня он превозносил, открывая в нем всевозможные добродетели, гражданские и личные, завтра позорно летел с пьедестала, и Геннадьич уже говорил:

– Я в нем разочаровался.

Горячка он был невозможная, – вздуть пустое событие до размеров, заслоняющих все и вся, было для него делом обычным. Тогда он становился несправедливым, нетерпимым, прямолинейным. Но Геннадьич был отходчив и снова делался умным, добрым, отзывчивым, очень начитанным и очень образованным человеком. Товарищем он был прекрасным, всегда готовым на что угодно: лезть на баррикады, обвинять, восхвалять, пить, петь, спорить, проводить ночи без сна – словом, как ни жить, только бы жить вовсю, с размахом.

Полной противоположностью ему был студент Сажин, – единственный, не поддававшийся влиянию Геннадьича, – замкнутый, сосредоточенный блондин среднего роста с самым

заурядным лицом, но с выразительными умными глазами, холодный, спокойный, скорее злой, чем добрый. Все это, впрочем, скрывалось в тайниках его души.

Сажин, по убеждениям, был марксист, – тогда еще новое слово, а Геннадьич – горячий народник, как окрестил его Сажин и против чего энергично протестовал Геннадьич.

– При чем тут народник? – кипятился он, – народники В. В., Юзов, Кривенко, Златовратский, а я стою за культуру обобществленного труда.

– Что, по-вашему, может, – едко перебивал его Сажин, – осуществиться поддержкой собственности с помощью вашей и еще нескольких, таких же добрых малых «я», которые захотят, кого-то уговорят, заставят, – логичный исход, и все сделается.

– Да, – отвечал Геннадьич, – я признаю значение личности и верю, что нет никакой надобности каждой народности проходить те же фазисы и можно слиться с передовым течением в любом периоде развития.

– Полное противоречие в самых ваших определениях, – отвечал холодно Сажин, – «развитие», «передовое течение», «слияние» – все это понятие о движении: одно движется, другое стоит – какое тут слияние? Или путь самосознания заменить тем или другим распоряжением, какое кому кажется лучшим?.. Это и есть путь произвола, деспотизма, к этому и ведет субъективизм...

– А вы что противопоставляете этому субъективизму?

– Объективное, конечно, начало, воле отдельного лица или лиц – законы, по которым движется жизнь.

– А отдельным лицам сложить ручки и ждать у моря погоды? – спрашивал Геннадьич. – И пусть какая угодно гадость делается, вы кланяйтесь и благодарите, и говорите, что все существующее разумно...

И раздраженный, охваченный Геннадьич уже кричал:

– Так подите вы к черту, служители сатаны, с своим Марксом и его «Капиталом»! Противны вы, как гробы, с своей теорией *laissez faire, laissez aller*<sup>8</sup>, – буржуи проклятые!

А Сажин вставал и, уходя, говорил:

– Ну, уж это... один из приемов субъективизма.

Среди остальной компании у Сагина поклонников не было.

Студент доктор был весь поглощен своею специальностью и не хотел связывать себя никакими кличками.

Геннадьич относился к доктору сперва пренебрежительно и восхвалял Лихушина.

– Сила, знанье! И на все его хватает, – это герой.

Но кончилось тем, что к Лихушину Геннадьич стал охладевать и, наоборот, начал все больше увлекаться доктором.

– У Лихушина крупный недостаток: у него «я» даже его переросло.

Доктор был простой, уравновешенный малый. Он и ел, и пил, и пел, и работал и с одинаковым усердием, весело, вза-

---

<sup>8</sup> пусть все идет своим чередом (*франц.*).

сос все это делал.

Он весь сосредоточивался на том, за что брался в данный момент с увлечением, с огнем.

Не любил он только всяких отвлеченных споров. Это было единственным временем, когда доктор вдруг сосредоточивался и, молча пощипывая свою бородку, терпеливо ждал, когда кончат спорщики. Иногда ждать приходилось долго, и доктор говорил:

– Давайте лучше петь, господа.

– Ты не любишь споров? – спрашивал его Геннадьич.

– Я понимаю, – отвечал доктор, – научные диспуты: соберутся люди специально с этою целью, строго держатся основной нити, а вы ведь, как козы, прыгаете с одного предмета на другой.

– Ну черт с тобой, будем петь!

И они пели: Геннадьич стоя, вытягивая свою длинную шею, складывая руки на животе, точно кто собирается в это время ткнуть его, а доктор, кряжистый, сильный, пригибая подбородок, упираясь так, словно собирался бороться.

Пели они с чувством, с силой: Геннадьич тенорком, доктор – мягким раскатистым баритоном. Пели, увлекаясь, иногда по целым ночам.

Но в восемь часов утра, умытый и свежий, доктор уже открывал свою лавочку, то есть прием больных.

Собранный, возбужденный, он толково опрашивал больных, своим интересом к ним вызывая и в них энергию и веру.

Популярность его росла, и прием больных доходил до восьмидесяти в день.

– И ведь это, – толковал нам доктор, – не земский прием, где и двести пятьдесят примут таким путем: «Эй, у кого рвота, болит живот под ложечкой – выходи влево. У коего великая скорбь – стой на месте. У кого глаза – вправо. У кого лихоманка – иди к забору. Остальные заходи в приемную». Зайдет человек двадцать, из которых штук пятнадцать еще отправит к прежним группам, которым фельдшера по одному рецепту выдают лекарства. А я ведь каждого больного... Вы пожалуйста-ка ко мне на прием.

На приеме у доктора была образцовая чистота.

Доктор в белом балахоне, его помощница по составлению лекарств – Анна Алексеевна Кожина, дочь мелкого землевладельца, окончившая гимназию и собиравшая деньги для того, чтобы продолжать свое образование – тихая, безответная, молоденькая.

Доктор с аппетитом тормозил больного, пощипывая бородку, стреляя своими большими глазами, напряженно, очевидно, перебирая в памяти учебники.

– У-гм... У-гм... А вот здесь не болит? Болит... У-гм...

Доктор задумывался, иногда справлялся в книгах.

Прием тянулся до обеда. Обедали к часу. После обеда доктор спал, потом с помощницей готовил порошки общепотребительных лекарств для другого дня и затем, покончив, отдавался отдыху.

Томившийся бездельем Геннадьич, которому надоело уже все и даже чтение, пытался иногда нарушить режим доктора.

– Нет, – отрезывал доктор, – все в свое время. А ты вот, чем баклуши бить, – помогай.

Геннадьич стал помогать и так увлекся, что сделался вторым помощником доктора.

Как раньше Геннадьич находил интерес в сельском хозяйстве, сопровождая Лихушина по целым дням в поле, часто после совершенно бессонных ночей, так теперь увлекался всякими болезнями и толкованиями по поводу них доктора: рылся с ним в учебниках, а в сомнительных для него случаях ездил к Константину Ивановичу, как объяснял он, с целью вывести доктора на свежую воду.

За обедом Геннадьич с одушевлением рассказывал разные сцены из приемной жизни.

– Бабы, особенно девки, прямо безнадежны: тупость... Язык у них у всех, – говорил Геннадьич, – какой-то совершенно особенный. Приходит мрачный крестьянин с экземой: «Наш фельдшершк толкует: у тебя рак подкожный – зудом и выходит». Другой говорит: «пузерь у меня», – оказывается отрыжка. Иногда ничего не поймешь: «ноняй от работы, ноняй от тоски сохну» – это значит: не то от работы, не то от тоски сохну. Или: «Голова хрустит; пока чемир дергают, легче, а ноне ни один волос не шелкал, потому и голове не легче». Это значит, что голова у нее болит, и пока выдерживают ей волосы и пока они шелкают, голове легче. «Как,

говорит, выпью, душа навалится и нельзя дышать». А одна старушка: «Ох, батюшка, вся-то я разорилась...» Все свои члены они называют уменьшительно: глазоньки, или просто зеньки, рученьки, брюшенько, брюшко. Покажи язык: «Не смею». Или закроет рукой и еле высунет под ней кончик языка.

– Я не понимаю, – горячился Геннадьич, – как тут жили, как могут жить люди без медицинской помощи? Нет, черт с ними, с изысканиями и со всем инженерством, – осенью еду за границу изучать медицину.

Геннадьич понемногу и всех увлек медициной.

Однажды привезли к доктору из соседнего села одного крестьянина, который как-то вилами проткнул себе живот.

– Дрянь дело, – сказал, осмотрев, доктор, – надо выписать Константина Ивановича.

И вот Константин Иванович, наш доктор студент, Геннадьич и Анна Алексеевна, да и мы все по очереди несколько дней и ночей просидели над умиравшим от перитонита крестьянином.

Громадный крестьянин, силач и красавец, лежал, смотрел на всех вопросительными глазами и тяжело дышал. Положение его ухудшалось с каждым часом, лицо куда-то проваливалось, все больше и все больше вырастала вся эта масса вздутого живота его, тяжело и неровно опускавшегося.

Было эпическое во всей этой простой покорной смерти этого колосса, в его жене – стойкой, тоже покорной, двух ма-



леньких ребятишках, окружавших постель отца.

В редкие минуты облегчения крестьянин делился своими думами.

Однажды, обернувшись ко мне, он облегченно заговорил. – Скоро это все кончится: приезжал к нам один, – переписывал, у кого что есть, а солдат один видел его в Питере и признал. Подходит к нему и говорит: «Ваше благородие, а ведь я признал вас». И сказал ему, кто он. Тот испугался, вскочил и говорит: «Что ты, что ты, и никому этого не говори». И сейчас лошадей себе потребовал. Ну, схватились тут мы, что не ловко сами сделали, – он будто не хотел, а мы его вроде того, что открыли... Миром и порешили: мне везти его и рассказать ему в дороге про всю нашу крестьянскую нужду. Лучших лошадей собрали, я кафтан надел... Как поехали, народ весь на колени... Выехали за околицу, повернулся я к нему и стал ему все докладывать: как народ без земли бьется, как трудно жить: хоть у Авдея Махина, пятнадцать рабочих ртов на четырех десятинах сидят: с чего же тут хлеб есть? Все, все рассказал. – Больной понизил голос: – И про себя не утаил, – признался ему, что две лошади свели у меня осенью со двора: совсем разорился... Так с тем и уехал тот на чугунку... И так что надемся мы теперь, крепко надемся, что все переменится... и скоро... скоро... будет и нарезка и скотина: все будет...

Он лежал на кровати, одетый в наше тонкое белье, шелковая подушка была под его головой, его поили шампанским,

за ним был самый нежный, самый трогательный уход. Больной оглядывал с удивлением себя, переживая, вероятно, какую-то сказку от этой переменившейся вдруг обстановки: как будто уже начинал сбываться заветный сон жизни...

На третий день сразу произошел крутой поворот к худшему.

– Гнилостный перитонит, – объяснил Константин Иванович, – вилы, очевидно, проткнули брюшину и кишку снизу вверх, из кишки успело выйти содержимое, затем стянуло и кишку и брюшину, и это содержимое, не имея выхода, произвело гнилостный, не гнойный, гнилостный процесс. Возбуждающие больше не действуют: если его разрезать теперь, то печень и сердце у него уже совершенно желтые от жирового перерождения. Колляпс полный, очень скоро конец при полном сознании.

На одно только мгновение больной как будто потерял сознание. Он вдруг, смотря перед собой, и радостно и испуганно спросил:

– Откуда кони? – Но сейчас опять пришел в себя и скорбным голосом сказал: – Помираю я...

Он протянул нам руку, пожал наши, с усилием кивая головой и говоря сухим раскрытым ртом, сверкавшим белыми зубами:

– Помираю, прощайте, прощайте...

Он простился с женой, благословил детей.

Последняя вошла в комнату Анна Алексеевна.

Он порывисто протянул ей руку и, когда она наклонилась, шептал ей уже без голоса с потрясающим чувством тоски:

– Помираю я, прощай... Ты как мать родная была со мной... лучше матери.

Кроткая, тихая, вся воплощенная любовь, так и застыла над ним Анна Алексеевна, смотря в его глаза. Порывисто дыша, он смотрел на нее сухими, воспаленными глазами, открывая все больше рот. Понемногу глаза поднимались все выше и выше, а рот открывался все больше и больше, пока с последним усилием вздохнуть не застыло без стопа и звука все это громадное тело и рот, и глаза в неподвижной, спрашивающей позе.

Без стопа и звука упала на землю и стоявшая на коленях жена, и молча, судорожно забилося ее тело о пол.

Анна Алексеевна, все время спокойная и стойкая, молча поднялась, перешагнула через жену умершего и вышла в другую комнату. Выйдя, она побежала и бежала все быстрее и быстрее с широко раскрытыми глазами, изредка вскрикивая, хватаясь за голову, пока не упала и не начала кричать неистово и дико.

Ее крики и хохот неслись по всему дому, потрясая воздух. Голосом раздирающего душу отчаяния и тоски она кричала имя умершего: «Григорий, Григорий, мама, мама!»

Доктор тихо объяснил, что недавно умерла ее мать, и с ней был такой же припадок.

Я в это мгновение вспомнил вдруг, как эта Анна Алексе-

евна говорила тоскливо, стоя у окна:

– Где же выход? Как жить, чтобы не жалко было, что жила?

И еще угнетеннее теперь раздавались ее вопли: «Мама, мама! Григорий, Григорий!...»

Доктор и Геннадьич возились с ней: Геннадьич взволнованный, готовый сам обезуметь, доктор Константин Иванович спокойный и совершенно желтый.

– Сам уже ходячий мертвец, – сказал наш доктор, когда Константин Иванович, успокоив Анну Алексеевну, уехал, – водянка началась уже, а живет ведь как самый нормальный человек: вот это сила...

.....

## XX

Компания наша увеличивалась.

В одно из воскресений на двор князевской усадьбы въехала плетушка, запряженная в одну лошадь. На козлах сидел молодой парень, а в плетушке – Писемский, по обыкновению сторбленный, весь ушедший в плетушку, и только изгрызенная соломенная шляпа торчала оттуда.

– Шурка, – радостно приветствовал Геннадьич вошедшего в столовую приятеля, где в это время компания садилась за обед.

Писемский, комично пригнувшись, спросил:

– А что, место учителя свободно? – И, махнув рукой, рассмеявшись по-детски, сказал: – Выгнали!

– Ну? – заревел, присев от восторга, Геннадьич.

– Ей-богу!

– Молодец! Рассказывай, за что?

– Да и рассказывать нечего: глупо уж все это вышло, – проговорил Писемский, присаживаясь к столу.

Он огорченно оглянулся и бросил шляпу в угол.

– Пришел Василий, – Писемский по-детски рассмеялся и показал на Лихушина, – вот его заместитель, и сказал, что господа велели школу под барский дом повернуть.

– Ну, на это права они не имеют, положим, – заметил Лихушин.

– Тебя, что ли, спрашивать будут? – усмехнулся Писемский и опять серьезно продолжал: – Горянов тут много напутал: какой-то, видите, будто бы мальчик из моей школы ему сказал, что бога нет и что это будто бы я сказал мальчику.

– Сказал? – лукаво подмигнул Писемскому Геннадьич.

– Да, что я сумасшедший? Комичнее всего, что сам батюшка возмущен, распинается, что этого не было и быть не могло... С библиотекой тоже... Одним словом, изобразил меня перед владельцами таким, что, того и гляди, и их самих потащат...

Геннадьич кричал:

– Господа, ура! За Шурку! Ах, черт, как у них тут весело будет, ей-богу! не плюнуть ли уж сразу на все эти изыскания? А то пойдем с нами, Шурка?

– Нет, уж я насчет школы, – усмехнулся Писемский.

– И пчельник мы тебе навяжем, – говорил Лихушин, быстро глотая щи.

– Пчельник – согласен: летом, с ребяташками – одна прелесть...

– Я с изысканий, Шурка, прямо к тебе на пчельник, – сказал Геннадьич, наотмашь ударив по плечу Писемского.

У Писемского сразу нашлась работа.

Дело в том, что, несмотря на большой состав служащих, в разгар работ их все-таки не хватало, и вот понемногу все грамотные из Князевки, бывшие ученики жены, превратились в надсмотрщиков. Многие из них успели порядком призабыть

свою грамоту и теперь после посева, энергично принялись с Писемским за ее восстановление.

Я думаю, что характеристика нашей компании будет не полная, если я не скажу несколько слов еще об одном члене ее – Галченке.

Он пришел пешком, молодой, высокий, худой, до крайности оборванный.

Он вошел ко мне и, не стесняясь своим видом, покровительственно протянув мне руку, сказал:

– Галченко. Я зашел к вам узнать, нет ли у вас какой-нибудь работы?

– В каком роде?

Галченко уже сел и, обтирая пот с лица, сказал небрежно:

– А уж это сами придумайте.

– Хорошо, пока поживите с моими товарищами.

И я направил Галченко к Геннадьичу.

– Это очень интересный субъект, – сказал мне вечером Геннадьич, – возьмем его на изыскания пикетажистом, – больших знаний здесь не нужно.

Так и порешили, а так как разрешения приступить к изысканиям еще не было, то с Галченко проходилась предварительный курс.

Галченко пренебрежительно слушал и говорил:

– Понимаю: ерунда...

– Ну, теперь попробуйте сами, – сказал ему как-то Генна-

дьяч и задал самостоятельную работу.

Работа была небольшая, а между тем Галченко не явился ни к обеду, ни к четырехчасовому чаю.

– Надо идти к нему, – решил Геннадьяч.

Он нашел Галченко в овраге, в меланхолическом созерцании сидевшего на земле.

– Ну, как дела?

– Дрянь.

– Вы до чего же дошли?

– До полного отчаянья дошел, хочу совсем уйти от вас: все равно ведь ни инженером, ни вором никогда не буду...

Временный упадок духа скоро, впрочем, прошел у Галченка, и он опять на каждом шагу постоянно твердил с громадным самомнением:

– Ерунда!

Вообще он имел такой вид, как бы говорил каждому человеку, с которым встречался:

«Друг мой, и рта лучше не открывай: надо примириться с тем, что ты, и все, что в тебе, – ерунда».

Почти не слушая Геннадьяча, он с апломбом осаживал его:

– Ерунда!

Сажину говорил:

– Окончательная ерунда.

– Что же, наконец, по-вашему, не ерунда? – приставал к нему Геннадьяч, – анархизм?



– Ерунда.

– Толстовщина?

– Ерунда.

– Декадентство?

– Ерунда.

– Сверхчеловек вы, что ли?

– Ерунда.

Но однажды, прижатый к стене, он изложил, наконец, свои взгляды.

– В сущности, если отделить всю его отсебятину, – резюмировал Сажин, – получается теория государственного социализма в буржуазном государстве с прибавкой русского чиновника: не ново во всяком случае.

– Ерунда, – авторитетно махнул рукой Галченко.

– Сами вы, друг мой, ходячая ерунда, – на этот раз как союзник Сажина ответил ему Геннадьич.

Галченко, конечно, не обратил никакого внимания на слова Геннадьича.

Галченко по целым дням где-то пропадал.

Иногда видели его где-нибудь евшим с крестьянами в поле.

Однажды, гуляя, Галченко забрел верст за десять от Князевки и устал. На лугу паслись чьи-то лошади, и Галченко, долго не думая, сел на одну из них и поехал назад в Князевку. Очень скоро после этого его нагнали и со всех сторон окружили верховые крестьяне.

– Стой!

Галченко, ни больше ни меньше, как приняли по его действиям и костюму за конокрада.

Положение его было очень опасное, потому что с конокрадами крестьяне обыкновенно расправляются судом Линча.

Галченко, поняв опасность, ввиду крайности назвался ненавистным ему именем инженера.

На счастье его с ним был компас, и он представил его, как доказательство своего звания.

После совещаний крестьяне решили все-таки проводить Галченко, не доверяя ему, в Князевку.

И вот, высокий и худой, на белой кляче, появился во дворе князевской усадьбы Галченко, окруженный толпой верховых крестьян.

Мы все высыпали во двор, и Галченко, хотя и смущенный, начал свой рассказ с своего обычного:

– Ерунда: понимаете, – ну, устал я, а хозяев нет, – приеду, думаю, и отошлю лошадь, конечно, заплачу...

Геннадьич визжал от восторга. Один из конвоировавших Галченко крестьян, когда недоразумение уже выяснилось, сказал мне с упреком:

– Ты бы хоть портки новые купил ему: вишь рваный весь какой ходит.

– Да ведь не хочет, – отвечал я.

Верстах в двадцати от меня жил один оригинал дворянин. Выстроил он себе пароход, который должен был ходить по

льду, но не ходил; мельницу, которая не молола; держал громадную дворню, часть которой составляла конную стражу, одетую в старинные костюмы. С этой стражей он носился по своим полям, и горе было нарушителям издаваемых самодуром законов. Стража его готова была на всё: секли и, говорят, даже без вести пропадали в этом имении люди.

Доступ к владельцу был крайне сложный. У ворот стоял часовой, которому сообщалось имя приехавшего. Этот часовой кричал имя швейцару, тот передавал дальше лакею при дверях, у каждой двери находился такой же лакей, пока очередь не доходила до двери той комнаты, где находился владелец. Таким же путем получался обратный ответ.

Галченко умудрился не только попасть к этому помещику, но даже прогостил у него несколько дней.

– Замечательно интересный субъект, – лаконически сообщил нам возвратившийся Галченко.

И на все остальные расспросы отвечал:

– В свое время всё узнаете...

Действительно через несколько дней в местной газете появились очерки под заглавием: «Типы современной деревни».

В число их попал и помещик-самодур.

Галченко имел мужество сам отнести этот номер газеты помещику.

– Вот чудак, – рассказывал, возвратившись, Галченко, – можете себе представить, он обиделся на меня.

– Может, – отвечал Геннадьич, – вздули вас?

– Вздуть не вздули, а влетело...

– Да уж признавайтесь.

– Ерунда... Но странно, ей-богу, как у людей совершенно нет общественной жилки, нет способности видеть самих себя со стороны: говорит, что я не его, а уroda какого-то изобразил...

Галченко весело рассмеялся.

Галченко пришлось еще больше убедиться в отсутствии способности видеть себя со стороны, когда в очереди очерков появился Лихушин.

Лихушин, хотя и был изображен крупным и талантливym инициатором, но человеком, у которого и все его дело было построено на его «я», и служил он своим делом только вящей эксплуатации крестьянского труда да набиванию хозяйского кармана.

Лихушин очень обиделся.

– Да чем же проявляется это мое «я»? – спрашивал Лихушин, сидя с нами со всеми на террасе в саду.

– Ну, положим, мало ли я с вами ездил, – отвечал ему Геннадьич. – «Почему так сделано, когда я приказал так?» «Я так хочу». «Я так сказал». На каждом ведь шагу это. Все ваши помощники не смеют ни на йоту послушаться, никакой самостоятельности, никакой инициативы вы им не даете...

– Словом, полный крепостник, – бросил с своей высоты Галченко.

Галченко взобрался на верх балюстрады, сидя там наподобие птицы.

– Потому что, – отвечал Лихушин, – всякое дело можно вести только, когда один хозяин.

– Крепостнический взгляд, – бросил опять Галченко, – и вашим извинением может служить только то, что и пообразованнее вас русские люди, можно сказать, светочи просвещения, так же деспотичны: любой русский редактор проповедует, что только один он, «я», может вести дело, и он не потерпит никакого вмешательства.

– Не знаю, не замечал я, по крайней мере за собой, – угрюмо отвечал Лихушин и, встав, ушел.

– Замечать за собой, – наставительно сказал вслед ему Галченко, – высшая и трудная работа... Куда же вы?

И, когда Лихушин, не отвечая, ушел, Галченко прибавил:

– Ты сердисься, Гораций...

– Да вот, собственно, насчет набивания карманов, вящей эксплуатации, – заговорил Геннадьич. – Я смотрю на нашу хотя бы компанию, и у меня получается какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, люди, как люди, с известными убеждениями, – Геннадьич прищурился на Сажина, – хотя бы и с жесткими, но во всяком случае по своим убеждениям не имеющие ничего общего со всем, что носит на себе печать буржуазного, а между тем мы все в своей деятельности служим этой самой буржуазии и самым пошлым образом при этом служим, создаем дела, которые должны набить, –

он обратился ко мне, – ваши и других таких же карманы. Что же это с нашей стороны? – несостоятельность, крах, прежде чем жить, можно сказать, начали – крах, в силу которого мое «я» со всей своей волей – нуль, ничто, жалкая или роковая игрушка обстоятельств?

– Великолепно, – кивнул ему из своего угла Сажин, – жму вашу руку.

– За что это? – насторожился Геннадьич.

– Да то, что «я» оказывается не при чем в общем ходе событий, – попытки этого «я» обособиться уподобляются в некотором роде усилию поднять самого себя за волосы. Это именно то, что называется: приехали...

– По-моему, заехали, – ответил Геннадьич, – но не в этом дело, а вы-то сами куда же приехали?

– А мы приехали в область внебуржуазную, наша точка опоры вне.

– Где же? Мы с вами, кажется, из того же места получаем жалованье.

– Мы с вами, во-первых, ремесленники: сапожники, которые шьют сапоги и думают о том, чтоб за свой труд получить, а не о том, кто его сапоги носить будет. А, во-вторых, я говорю не о себе лично, а о классе, которому служу, о деле этого класса...

– Какое дело? Оправдывать все существующее? большое дело, – фыркнул Геннадьич.

– Осмысливать все существующее, – спокойно ответил

Сажин, – механик-самоучка при всей своей природной талантливости может додуматься до отрицания и законов тяготения, а механик образованный будет изобретать, руководствуясь этим законом. Вот этот закон и создает материалистическое учение, в основу которого положен чисто научный по своей объективности диалектический метод.

– Знаю, – перебил нетерпеливо Геннадьич, – тез, антитез, синтез и множество надстроек, с которыми до сих пор никто не справился и никогда не справится, потому что то, из чего все вытекает – мое «я» не принято во внимание... Слишком объективный метод, такой же научный, как и все остальные, модная теория, от которой через двадцать лет, может быть, ничего не останется: как было до сих пор, как будет всегда... Я знаю одно, я своей воли никаким вашим законом не отдам. Я вольный, сознающий себя человек, стремлюсь к добру, как понимаю его, и никто мне не смеет запретить идти к цели путем, какой мне кажется лучшим.

– Полное оправдание и всякого произвола, и нравственная поддержка любому бухарскому эмиру...

– Будем лучше петь, господа, – предложил доктор. Но пение не пошло.

– Мне интересно, – обратился во время перерыва ко мне Геннадьич, – как, собственно, вы смотрите на свою и нашу деятельность... Собственно, до сих пор, как писатель, вы определенной физиономии не имеете. «Детство Темы» содало вам популярность. «Несколько лет в деревне» уже вы-

звало по вопросам об общине некоторое недоумение в доброй семье народников, – так их называет Сажин и с чем я не согласен, – в которую вы вступили; ваши железнодорожные статьи о дешевых там дорогах и совсем в тупик поставили всех: кто же вы? Ваше, так сказать, *profession de foi*?<sup>9</sup>

– Прежде чем отвечать, я задам вам вопрос: должна ли частная деятельность человека соответствовать его идейной?

– Может соответствовать, может и нет: Энгельс оставил после себя большое состояние, а идейно работал на совершенно другой почве.

– Я работаю в классе крупной буржуазии: в силу рождения, в силу воспитания я в нем. Верю в его творческую силу. Верю, что железная дорога, фабрика, капиталистическое хозяйство несут в себе сами культуру, а с ней и самосознание: здесь образованный человек, машинист, техник – нужны, и не потому только, что я этого хочу, а потому, что он действительно необходим.

– Этою необходимостью, – заметил Сажин, – объясняется и ваша деятельность: культурное хозяйство и прочее. Вы заводите все это, потому что надеетесь иметь выгоду, и не станете заводить это где-нибудь в глухом углу Сибири... Сапожник шьет те сапоги, которые требует рынок, и не станет делать иных. Я хочу этим сказать, что ваши ремесла, – там инженерство, капиталистическое хозяйство и другие, – нель-

---

<sup>9</sup> буквально: исповедание веры (*франц.*); изложение своих взглядов.



зя назвать ни культурными, ни некультурными, как и всякое ремесло: вы работаете, получаете за свой труд, больше или меньше – другой вопрос... Но это, собственно, еще не profession de foi.

– Совершенно, конечно, согласен, – отвечал я, – одно ремесло еще ничего не дает. Но лично я хотел бы вносить во все свои ремесла не только эту сторону, но и идейную. И в железных дорогах и в хозяйстве интенсивном я вижу средство для достижения цели: более быстрого развития жизни, хотя бы экономической, с которой придет и остальное. В творческую силу такой работы я верю, верю в достижение цели таким путем. А в достижение цели утопистов совершенно не верю; материалистам верю, но думаю, что мы в том фазисе развития, когда точка приложения равнодействующей находится в периоде национального накопления богатств. И, следовательно, просто культурная, прогрессивная работа является наиважнейшей в смысле обширного фронта работ. Для представителей четвертого класса и фронт работ мал, да и в опекунскую работу плохо верю, стать же в ряды этого класса считаю, что это будет невыгодной затратой сил моих, каковым являюсь я во всей своей совокупности.

– Я не расслышал, – спросил Геннадьич. – Почему вы утопистам или там народникам не верите?

– Потому что они сами себя обрекли на бездействие. Они говорят: надо вот что. С этим «надо», как с скрижалями, они сидят. Как делать, что делать – ответа нет, и все попытки

ответить потерпели крушение. Время делает свое дело, но не они...

– Вы, следовательно, не признаете за ними никакой прогрессивной роли?

Голос Геннадьича сделался сухой, долбящий.

– Признаю, все признаю: и роль их в деле нашего прогресса, и преемственность, и даже жизненную роль в будущей практике жизни, как представителей громадного класса мелких земельных собственников.

– Я никогда вам не поверю, – заговорил более спокойно Геннадьич, – чтобы вы могли сочувствовать проекту отрывать крестьян от земли, бросать их на рынок, из собственников превращать в пролетариев...

– Кто же этому сочувствует...

– Давайте же петь, господа!

Позвали доктора.

– Петь так петь, – согласился Геннадьич.

Посев кончился, и зазеленела земля, мы собирались выступать уже на изыскания, когда давно ожидавшееся, впрочем, несчастье совершилось: доктор Константин Иванович Колпин скончался.

Маленький фельдшер Петр Емельянович, растерянный, убитый, безжизненными глазами следя за умирающим, говорил, что эти последние месяцы жил уже не он, а его наука.

За полчаса до смерти доктор еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с покорной улыбкой:

– Этого можно было бы и не делать уже...

В открытое окно смотрело безмятежное голубое майское небо, ветерок лениво шевелил молодую листву деревьев, нес аромат далеких зеленых полей.

Он умирал, а над его окном со всей энергией весны озабоченно щебетали воробьи, замирало где-то звонкое кукованье кукушки, еще какая-то птичка, как выражение высшего блаженства, в тон всему напевала тихо и нежно свою песенку.

Он, очевидно, еще и этим наслаждался. Вздохнув, как вздыхает усталый, собирающийся на покой человек, он попросил положить в изголовье его гроба свежей травы.

Он умер тихо, точно уснул, и в эти мгновения торжественного молчания невольно подводился итог его жизни.

На вид он жил жизнью самого здорового, самого удовлетворенного человека и, как самый счастливый, он от избытка своего счастья щедрой рукой рассыпал вокруг себя то довольство, которое только мог давать людям. И не так материальное, как нравственное. Сколько ласки, любви было в нем.

Когда разнеслась весть о его смерти, пришла громадная толпа людей, и все доброе, скрытое всплыло.

Была какая-то жажда говорить, спешить говорить, рассказать обо всем, что сделал Константин Иванович.

И, как в панораме, вырисовывалась перед глазами вся эта прекрасная жизнь, полная такого горя для себя и такой радости для окружающих. Он и от любви из-за болезни отказался.

В дневнике Амиеля есть такое место:

«Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, торопиться любить – в этом долг».

Таким был незаметный при жизни доктор.

С этой толпой бедных людей он делил горе, с ними он пережил два голода, тиф, холеру и последний тиф зимой, когда и подорвал в конец свои силы.

После его смерти только и нашли, что полный стол копечных лошадок да деревянных куколок.

Там в нищенской избе за этой лошадкой тянулась маленькая больная ручонка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел и светил в жизни этому человеку.

Его похоронили на том кладбище, которое видел он из своего окна. Он спит под большим крестом, окруженный теми, кого любил больше себя. В памяти живых он долго будет жить. Чем дальше, тем ярче встанет образ этого больного своим большим сердцем человека.

И говорили крестьяне, расходясь с похорон:

– Хороший был человек!

На ленте лихушинского венка стояла китайская пословица: «От одного хорошего человека и весь мир лучше делается». Геннадьич был страшно огорчен этой надписью:

– Все настроение мне Лихушин испортил, – жаловался он. – И что он хотел этим сказать? Что делу может помочь деятельность таких культурных одиночек? Глупо и пошло... Без всякой там идеи я всей душой был расположен к Кон-

стантину Ивановичу, но если это герой, который нам нужен... Лучше уж никакого...

Сажин молча кивнул головой.

## XXI

В течение лета изыскания технические и экономические были закончены. В декабре месяце в очередной сессии я должен был сделать доклад об этих изысканиях уже в губернском земстве.

В декабре же истекал срок полномочий дворянских представителей, и были назначены новые выборы.

Кандидатом в губернские предводители прочили Чеботаева.

Опять гостиницы города не вмещали съехавшихся, опять дворянская зала наполнилась дворянами в мундирах, запахом нафталина, гулом голосов.

Выглядывало из толпы сдержанное, но встревоженное лицо Проскурина, всегда уравновешенное, спокойное, умное Николая Ивановича Бронищева, угрюмое, сосредоточенное Нащокина, торжественное, бледное Чеботаева, отрешенное от мира, задумчивое, добившегося своего – редактора и уездного предводителя – Старкова.

На вопрос – будет ли он баллотироваться – Проскурин надменно, лаконически отрезал:

– Не буду.

Со всех сторон залы кричали:

– Чеботаева, Чеботаева! Просим, просим!..

Чеботаев, бледный, вышел и что-то сказал.

– Просим, просим! – заревела опять толпа.

Явственно донеслись слова Чеботаева о более достойных, чем он.

– Вас хотим! Просим! Просим!..

Чеботаев отошел.

– Отказывается!.. Депутацию!..

Публика разогревалась.

Кто-то предложил на подносе поднести все шары.

Проскурин со своей партией стоял у дверей и, по-наполеоновски скрестив руки, свысока наблюдал все эти волнения залы.

Около Чеботаева горячилась большая партия, тесной стеной окружали его сторонники, и воздух дрожал от криков:

– Просим, просим!..

Протискивались к нему, порывисто жали ему руки, говорили:

– Вперед, мы всегда с вами!

Громадный, в три обхвата дворянин, с сальными мешками вместо плеч, протискался, обнял Чеботаева и, смачно, слюняво целуя, сказал плачущим голосом:

– Голубчик, дорогой, спаси нас от Проскурина и всех скверн его!

Это вызвало смех и испортило торжественность. Чеботаев стал энергичнее отказываться.

Но опять просили, опять стало торжественно, тепло.

Взвинтились и взвинтили Чеботаева. У него слезы высту-

пили на глазах, и он, пересиливая себя, тихо сказал:

– Согласен, но с условием, чтобы в кандидаты мне Нащокина.

Громовое «ура» пронеслось по залам. Нащокин тоже согласился, и началась баллотировка.

Из 112 голосов Чеботаеву положили 87 избирательных.

Зато Нащокину переложили и выбрали его 107 голосами.

Старый, заезженный прием удался Проскурину. Он торжествовал, а Чеботаев со своей партией ходили смущенные и растерянные.

Один Николай. Иванович был совершенно спокоен. Он говорил:

– Хотя обычай утверждать предводителем того кандидата, который получил большинство голосов, но, в сущности, на утверждение представляются оба. Если Нащокин откажется...

– Конечно, отказываюсь.

– Но тогда ведь я не буду, собственно, выбран, – уныло возразил Чеботаев.

– Конечно, – раздался резкий, злорадный голос графа Семенова.

– Нет, вы будете выбраны, – резко возразил Николай Иванович, – и не дадите меньшинству терроризировать и парализировать большинство. Во всяком случае надо посоветоваться с губернатором.

Инцидент с губернатором об оскорблении все еще не был



исчерпан, и губернатор на открытии не был.

Николай Иванович поехал к губернатору и скоро возвратился довольный. Губернатор уже телеграфировал министру и не сомневался в утвердительном ответе.

Собрание отложили до завтра. Опять Проскурин стал сумрачным, а партия Чеботаева решительна и сдержанна.

На другой день получен был ответ сб утверждении Чеботаева.

Проскурин и еще три уездных предводителя подали Чеботаеву заявление, в котором говорили, что ввиду неправильности выборов он не может рассчитывать на поддержку их в депутатском собрании.

Чеботаев прочел, посоветовался с друзьями и ответил в том смысле, что заявление их принял к сведению.

– Дурак! Толстокожий! Благородство! – ругался Проскурин. – Играл в благородство до тех пор, пока выгодно было...

Граф Семенов, в камергерском мундире, язвительно говорил:

– Собственно, единственный прецедент в истории российского дворянства, – избранный волею своего друга.

В уездных Проскурин прошел подавляющим большинством панков, на этот раз в достаточном количестве в грязных фраках и нитяных перчатках явившихся в собрание; вместо Чеботаева уездным предводителем был выбран Нащокин; Старков отказался.

Он гудел над моим ухом:

– Это связывает мне руки как редактору. Хотя я и дворянин и солидарен с князем Мещерским, но все-таки нахожу неудобным такое совместительство. Вы, конечно, моего взгляда на князя Мещерского не разделяете, но я считаю, что самое большое мужество иметь право думать, как думаешь.

– Конечно.

– Необходимо прежде всего быть честным общественным деятелем, а остальное все приложится. Я так по крайней мере думаю и по мере сил действую.

– Сколько у вас подписчиков?

– Немного: триста пятьдесят.

– С даровыми?

– Несколько человек... Но есть объявления. Я устроил свою типографию: надеюсь концы сконцами свести... Много зависти, грязи. У нас ведь, если не либеральный орган, газеты вышутят и высмеют.

Я кой-что читал уже в выдержках: действительно, вышучивали за уездно-дворянскую точку зрения, установленную «Вестником» Старкова.

Над статьями Старкова смеялись, и дворяне говорили друг другу:

– Ну, заговорил по-старковски!

Это значило на местном жаргоне: ерунда, непонятно!

Старков знал обо всем этом, но решил твердо держаться и говорил с горечью:

– Это благодарность...

Выборы кончились, и все с интересом ждали, как поведет себя новый предводитель с губернатором.

Чеботаев запросил частным письмом губернатора, отдаст ли он ему визит, если он его сделает, как губернский предводитель. Губернатор ответил, что до получения удовлетворения, он, к сожалению, визита отдать не может.

«Я не сомневаюсь, – писал губернатор, – что если Вы мужественно снова поднимете этот вопрос в собрании, заявив ему, что я честно и открыто желаю получить удовлетворение, то представители благородного сословия, к которому принадлежу и я, не откажут мне в этом моем совершенно законном и справедливом требовании».

– Это на первых же порах повлечет за собой такое... – замахали руками друзья Чеботаева. – Это будет только на руку Проскуруину.

И Чеботаев с друзьями прибегли к такому маневру: закрыли собрание, а перед губернатором Чеботаев извинился в позднем получении его письма, вследствие чего он не успел поставить вопрос, к тому же и не значившийся в программе намеченных занятий.

– Точно он не мог испросить у меня этого разрешения? – спрашивал обиженно губернатор и прибавлял иронически: – Вот не ожидал, что и Чеботаев станет дипломатом...

## XXII

Губернское земское собрание было назначено через несколько дней.

По любезному приглашению Абрамсона, я остановился у него и мог ближе наблюдать эту оригинальную фигуру.

Разнообразной вереницей с утра чередовались в его квартире подсудимые, сопровождаемые вооруженными солдатами, всякий люд без мест, благотворители еврейского общества, устроители концертов, разношерстная интеллигенция, – актеры, сотрудники либеральной газеты, ссыльные.

У одного арестованного было найдено письмо, в котором писалось: «Нам лучше всего увидеться у Абрамсона, где собирается всякий сброд».

Абрамсон, узнав это, хохотал, как сумасшедший.

– Нет, понимаете, – объяснял он, – можно сказать, такой салон, соленая закуска, и вдруг – сброд... А?.. Что?.. Ха-ха-ха!..

Сброд, улица, пожалуй, это и метко, но с той разницей, что в этой квартире ярко подчеркивалось то, чего на улице не так легко заметишь: сердце этой улицы, изболевшееся, истрепанное жизнью сердце.

На другой день после выборов мне нездоровилось, и я, приговоренный доктором к аресту, отдался наблюдениям.

Утром Абрамсон просунул голову в дверь моей комнаты

и сказал:

– Хотите видеть интересного преступника?

Я вышел к нему в столовую, где находился уже высокий, толстый, добродушный местный горемыка-художник, привязавшийся к Абрамсону и проводивший у него все свое свободное время.

– Это интересно посмотреть, – сказал и он.

– Только вот что, господа, – торопливо заговорил Абрамсон, – я сперва уйду один, а вы, погодя, войдите под каким-нибудь предлогом.

Мы с художником подождали и вошли в его кабинет.

Два часовых с саблями, между ними в арестантском халате женщина, дальше из-за стола выглядывает Абрамсон.

– Ваши книги здесь, – сказал он мне, указывая на стоявшую возле него этажерку.

Таким образом я мог увидеть лицо арестантки. Девушка лет семнадцати, шатенка, бледная, может быть и красивая, но теперь с раздавленным лицом. Словом, Катюша Маслова, как ее потом рисовали в «Ниве». Зрелище было очень тяжелое, и я сейчас же вышел назад в столовую.

Скоро выбежал и Абрамсон.

Он сел, подпер рукой голову и заговорил:

– Дворянка, убежала от отца, потому что хотел ее изнасиловать, обвиняется в воровстве у тетки платья, паспорта не имеет... И сознается... Я так, сяк-нет, – сознается во всем... Оставить ее в тюрьме, это ведь значит совершенно развращать.

тить... Предлагаю тетке на поруки взять, – не берет. К отцу умоляет сама не отсылать.

Я предложил свои услуги относительно поруки.

– Ну, а я тогда, – сказал Абрамсон, – оставлю ее пока у себя – будет помогать кухарке по хозяйству.

– Ах, вот великолепно, – восторгался художник.

– Третий номер, – смеялся Абрамсон, – кухарка, по обвинению в поджоге; этот мальчик, мой рассыльный, будет судиться за убийство, и теперь вот эта...

– За какое убийство? – спросил я.

– Убил своего товарища. Были друзья детства, вместе в сельскую школу ходили, стихи сочиняли, вместе влюбились, и вот за бутылкой пива тот, убитый, что-то сказал про их общую слабость, а этот все девять дней не отходил от его кровати. Перед смертью умиравший обнял его и так и умер. Умирая, он сказал отцу: «Если тебе дорога память обо мне, прости его, и пусть он будет тебе вместо меня».

Как меняется лицо человека, когда освещается оно такой нравственной лампочкой, какая была в распоряжении Абрамсона. Бледное молодое лицо рассыльного, которого я раньше и не замечал, останавливало теперь мое внимание какой-то печатью печали, порыва, красоты духовной.

Так же преобразилась вдруг и девушка, сегодня отпущенная на поруки. Она уже подавала нам завтрак: удовлетворенная, успокоенная, понятая. Мне с достоинством протянула руку и сказала:

– Благодарю вас...

– Это еще кто? – спросил художник, с аппетитом в то же время поедая жареную говядину.

– Да вот эта же.

– Да не может быть! – так загремел художник, что стекла задрожали. – Батюшки, да ведь это другой человек совсем! Ведь это, ведь это...

И громадный, большой художник, по парижской, вероятно, привычке носивший и в декабре цилиндр и ветром подбитое желтое пальто-халат, – громадный, большой, с гривой львиных волос на голове, до того разволновался, что слезы закапали по его лицу. Он бросил есть, вытирал слезы и говорил:

– Извините, я, ей-богу, не могу... это так трогательно...

После завтрака художник ушел, обещая зайти вечером.

От завтрака до обеда приемы разных лиц не прекращались. Одним Абрамсон что-то давал, другим писал рекомендательные письма, с иными сам уезжал куда-то. Я сидел в другой комнате, читал и слушал.

Иногда бывали очень курьезные визиты. Одна дама говорила:

– Извините, я только что приехала, никого в городе не знаю, мне указали на вас, мне нужен доктор, я не знаю, кого пригласить...

– Доктор? – озабоченно тер себе лоб Абрамсон. – По какой специальности?

– У меня...

Дама понизила голос, и я не слышал ее ответа.

– Лучше всего в таком случае Ярошевского... Присядьте, пожалуйста, я сейчас напишу вам письмо... Виноват: ваше имя, отчество, фамилия?

Абрамсон спешил в кабинет, а в это время другой проситель, из «гостиных», останавливал его на пути:

– Извините: я только два слова, и у меня, к сожалению, нет времени больше ждать...

В передней уже простой люд ловил Абрамсона: у них тоже не было свободного времени.

– Сейчас, вот сейчас...

Вечером, наконец, мы остались втроем: художник, Абрамсон и я, и, уютно усевшись в кабинете Абрамсона, придумывали темы для разговора.

– Давайте, господа, – предложил Абрамсон, – круговую беседу.

Художник, на все отзывчивый и горячий, с детской радостью рявкнул:

– А что ж? Давайте, в самом деле! Вы начинайте.

– Хорошо, – раздумчиво согласился Абрамсон, – у меня много тем, я всё хочу их записать... Вот только что бы интересное рассказать?

Он разводил пальцами по воздуху и думал.

В это время кто-то позвонил, и вскоре вошел господин лет сорока пяти, седоватый, плотный, с приплюснутым красным



носом.

– Какими судьбами?! – закричал радостно Абрамсон и бросился целоваться с вошедшим.

Вошедший оказался доктором, профессором Киевского университета.

Они с Абрамсоном вместе начали свою карьеру – Абрамсон в роли судебного следователя, а доктор – земского врача. Затем, прослужив три года, они на целых пятнадцать лет разлучились, и теперь доктор, взяв отпуск по семейным делам, приехал на свою старую родину.

После первых приветствий на стол подали пиво, которого потребовал себе профессор, а Абрамсон сказал ему:

– Вот мы тут только решили рассказывать по очереди, чтоб убить время.

– Доброе дело!

– Я вот и придумываю, что бы рассказать?

– Расскажите наш первый с вами дебют, – сказал профессор.

– Ах, в самом деле. Вот действительно, – оживился Абрамсон. – Представьте себе деревню: соломенную, деревянную, грязную... Осень, дождь, слякоть. В деревне, в барском пустом колодце найден труп. Я вызван как следователь, он как доктор. Мы в первый раз встречаемся, знакомимся и идем осматривать труп. Не труп, а что-то ужасное: чем-то вроде пилы снесена верхняя часть черепа, грудь разрублена, и в ней набита мелкая солома от какого-то хлеба, которого

даже и не сеют в деревне. Труп настолько разложившийся, что является затруднительным определением пола. Из опросов выясняется, что весной без вести пропал некто Яшка Худов, служивший работником у богатого крестьянина того же села Антона Базыкина. Базыкина в деревне все ненавидят, потому что он богат, кулак, грабит всех; и весь род его такой, и ненавидят их из рода в род. В день исчезновения Яшки пропала у Базыкина лошадь, и все слышали, как Базыкин крикнул Яшке: «Ты виноват, – хоть из-под земли достань, если жив хочешь быть». Яшка весь день искал лошадь и к вечеру советовался с товарищами, как ему быть. На предложение товарищей просто пойти и сказать, что не нашел лошади, Яшка ответил: «убьет», встал и пошел к избе Базыкина. После этого Яшку больше не видали. На вопрос о приметах заявлено, что ростом Яшка такой же, как убитый, сверх того Яшка был косорукий, и кисть правой руки была у него выворочена наружу. Осматриваем труп: действительно, правая кисть выворочена. Профессор, – Абрамсон показал на доктора, – признает возможность органического недостатка руки, насколько позволял признать это разложившийся труп.

– Эту-то оговорку я сделал, – перебил профессор, – как сейчас помню, на левой стороне, третья или четвертая строчка сверху.

– Все таким образом, – продолжал Абрамсон, – наводит на Базыкина. Пристав уже арестовал его. Идем к Базыкину и делаем у него обыск. Оказывается: сабля – тупая, заржав-

ленная, с запекшейся на ней кровью. Уважаемый профессор признает, что именно каким-нибудь таким оружием срезан череп, рассечена грудь и вообще сделано все остальное для уничтожения пола...

– Хотя я и сделал оговорку, что труп мог лежать в мокром месте и таким образом подгнить...

– Хорошо, идем на гумно и на гумне находим остатки той соломы, которой была набита грудь убитого, – от какого-то хлеба, которого никто, кроме Базыкина, не сеял. Сам Базыкин производит очень неприятное впечатление: лицо не крестьянское, рябой, мигает глазами, жидкие бакенбарды, бритый подбородок, – служил когда-то в солдатах, – лет пятидесяти, становится постоянно на колени, складывает руки, как на молитву, говорит одно: «Не виноват». Ну, что ж? Допросили, записали в протокол. Базыкина держат в соседнем селе в арестантском доме. Увезли его обратно, и я поехал ночевать в то же село. Приказал наблюдать за ним, следить, что он делает. Все время, говорят, стоит на коленях и богу молится. Сижу я день, два, неделю. Мне надо ехать по другим делам, не могу уехать, – держит что-то, что-то говорит, что Базыкин не виноват. Думаю, думаю, ничего и придумать не могу. Дошел до того, что сам спать не могу. Служил у меня один подросток. Постоянно посылаю его: «Пойди посмотри, что делает Базыкин». – «Богу молится». Вечер, темно, дождь как из ведра. «Пойди посмотри, что делает Базыкин». – «Богу молится». И говорит дальше этот мальчик: «Ну и грязь, –

утопленника и то в пору закопать куда-нибудь...» – «А что ж тогда будет?» – спрашиваю я. «Засуха будет», – отвечает мальчик. Конечно, это показывает только, до чего у меня нервы были напряжены, что этот ничтожный разговор навел меня вдруг на целое открытие. Я сейчас же потребовал из волостного правления списки убийц, утопленников, скоропостижно умерших. Ночью старшина, писарь, тащат списки. Есть! В пяти верстах от того места, где найден был труп, в селе весной был найден в пруде утопленник. Беру сейчас же старшину, писаря, понятых и еду в то село. Будим старосту: «Был утопленник?» – Был. – «Где он?» – Зарыли. – «Где?» – На выгоне. – «Кто зарывал?» – Я да еще трое. – «Веди к ним. – Зарывали?» – Зарывали. – «Берите лопаты, идем». Картина такая: ночь темная, дождь, как из ведра, при фонарях трое роют могилу, а этот обвиняемый Базыкин тут же стоит на коленях, протянув руки к небу. А те там роют. Пороют, пороют и опять: «Да что ж рыть? Сами зарывали». – Ройте. – Рыли, рыли, – твердый грунт пошел. «Ну, где же покойник?» Молчат. «Ну, вот вам объявляю: завтра утром во всем сознаться, – тогда ничего не будет, а в противном случае на себя пеняйте». На другой день просыпаюсь, и первые слова мальчика, прислуживавшего мне: «Приехали». Одеваюсь, выхожу: двадцать человек стоят на коленях, и у первого на голове лежит бумага, в которой все подробно описывается. Боясь, чтобы засухи не было, они тело вырыли и бросили в этот самый колодец на барскую землю: уж если пусть у кого

будет засуха, так лучше у барина.

– А разрубленная голова, грудь?

– Оказывается, его перед этим анатомировали.

– Понимаете, – вмешался профессор, – анатомировали и не произвели вскрытия живота.

– А солома этого самого Базыкина, который и там сеял этот самый хлеб и как раз в том самом месте, где производили вскрытие; вот, до зарытия в могилу труп и прикрыли соломой...

– А Яшка?

– А Яшка тоже потом объявился: тогда, испугавшись, он, не заходя к Базыкину, отправился в город, и через год получили от него письмо, в котором он спрашивает: «А что хозяин все еще сердает на меня за лошадь?»

Когда все выяснилось, и я, собравшись домой, проезжал мимо их деревни – все жители вышли и с иконами стояли на коленях каждый у своей избы. Я спрашиваю: «Что это?» – Это за то, что спас ты нас от греха «напраслины».

Абрамсон поднял руку и так и остался, смотря на нас – из-под сдвинутых густых бровей.

Я с любовью смотрел на этого доктора Гааза нашего города и думал, что если бы следователи так же проникались судьбой своих подсудимых, то не было бы столько несчастных жертв суда. Я высказал эту мысль вслух.

– Это, конечно, – сказал профессор, – исключительное свойство его любвеобильной натуры, этого нельзя и требо-

вать, но можно требовать по крайней мере защитника при предварительном дознании. Кажется, на что ясна эта идея, а вот не везет ей. Себялюбивый фантазер следовательно, а глупый, не дай бог, и карьерист притом, чего-чего не напутает: исказит, по-своему направит и все остальные следы сам же замажет так, что и не восстановить истину... все по-человеческому, – вздохнул профессор и, отпив сразу полстакана пива, сплевывая, прибавил: – Вонючее это человеческое...

– Ну-с, теперь следующего очередь, – сказал Абрамсон.

– Я расскажу, – вызвался художник, – я расскажу вам очень трогательную историю.

Об этой истории художник, очевидно, все время думал, и лицо его, проникнутое теперь этой историей, было печально и даже расстроено.

Он и начал свой рассказ убитым, расслабленным голосом. Понемногу, впрочем, он увлекся рассказом и, заговорив иначе, дал яркую бытовую картинку из жизни художнической богемы.

– О карьере художника мечтал я еще в гимназии, но отец и слышать не хотел. Главным образом потому, что мачеха не желала, а он был под полным ее влиянием. Пришлось выбирать между жизнью, полной довольства, если поступлю в университет, и жизнью, совершенно необеспеченной, если поступлю в художественную академию. Я все-таки подал прошение в академию. Всех нас, державших экзамен, было с лишком триста, а прием что-то двадцать пять. Понятно,

сколько страха, волнений. По классу живописи для вступительного экзамена дали нам рисовать гипсовую головку с натуры. На следующий день в круговой зале уже были выставлены наши работы с отметками: принят или не принят. Когда двери распахнулись, наконец, и нас впустили, мы посыпали в залу, как горох из мешка. Я летел на всех парусах впереди всех. Рядом со мной только один поспевал: такой же громадный, как и я. «Отказано» буквами через весь рисунок, – слава богу, не мой! Дальше! Множество не принятых, на принятых внизу аккуратно подписано: «принято», и номер. Вот и последний рисунок – моего нет! Вероятно, у меня было такое же провалившееся лицо, как и у того, который не отставал от меня. Я совершенно невольно спросил его: «И вашего тоже нет?» – Нет... – Может быть, пропустили? Опять пошли медленно, просматривая все рисунки: нет! Хотели уже уходить, пошли даже... Навстречу профессор, знакомый этого моего нового товарища. «Поздравляю, говорит, вас». – С чем? – «Как с чем? Ваш и Болотова рисунки взяты в оригиналы, – идите в купольную залу». Захаров и я бежим в купольную. Захарова и мой рисунок в рамках! Римскими буквами внизу у Захарова – I, внизу моего – II. Из всех наши оказались лучшими таким образом... Ну, радости, конечно, нашей конца не было: мы даже поцеловались, хотя сейчас же и расстались, и каждый побежал по своим делам. С одной стороны, радость громадная, с другой – жребий брошен, – надо становиться на свои ноги. Написал я отцу, – отец был богатый

землевладелец, – и, без копейки в кармане, принялся устраивать свою новую жизнь. Где-то в Десятой роте Измайловского полка, в каком-то полуразвалившемся флигельке, нашел, наконец, комнатку за четыре рубля в месяц. Четыре аршина ширины, три длины, потолок рукой достать можно, – со входа выше, к другому концу ниже, пол под ногами ходит, выход на маленькую вонючую лестничку, через хозяйскую кухню. Хозяйка толстая, простая, еще два жильца у нее. Даже и в задаток ничего не мог дать, притащил гипсовую руку Моисея. Спрашивает: «Что это?» – Господи, да у кого же другого такая громадная рука может быть? – Моисея, конечно, – заплачено пять рублей. – Ведь брат не хотела! «Что я с ней делать буду?». Насилу уговорил. – Только, говорю, пожалуйста, вы не разбейте, как-нибудь. – «Дай не трону, говорит, батюшка, сам и положи ее, где знаешь». Положил на комод, еще раз приказал и побежал перетаскивать остальной свой скарб, за один раз все и перенес. И все казалось таким уютным тогда, налаженным. Только голод донимал: обедал я в кухмистерской Елены Павловны, – съешь, точно и не ел ничего, и изжога. Идешь после обеда через хозяйскую кухню – пахнет кашей, черным хлебом, капустой – так бы и съел все. Вечный голод, вечная пустота в желудке, а весь заработок – восемь-десять рублей в месяц, в солдатских журналах за рисунки ружейных приемов. Начались занятия. Мне досталась голова Аполлона. Уж я писал, писал ее. Кончил за три дня до срока. Гуляю, смотрю у других. Идет наш профессор –



очень резкий. Спрашивает, что это я гуляю. Я говорю, что кончил. Пошел посмотреть. Присел. Это уж много значило. Сказал кой-где подправить и сдавать в архитектурный зал. Мы сами относили свои рисунки в зал. Вешал кто где хотел. Я повесил на пятнадцатый номер свой. Прихожу через час, вижу – мой Аполлон висит последним: это инспектор приказал, – говорит, что ни жизни, ничего нет в нем, – так, мазня. Неприятно. Но на другой день отметки и опять Захарова – первый, мой – второй... Ну, опять радость, тут мы немного с Захаровым познакомились и поговорили. Выяснилось, что и у него мачеха и тоже родные не пускали его в академию, хотя и высылают двадцать пять рублей в месяц. В это время как раз и отец мой с мачехой приехали, остановились в Европейской гостинице, громадные номера, свои лакеи, казачки, без доклада никто не допускается. Посылает отец за мной, лакей в ливрее – я обрадовался, как был вскочил, надел пальто и марш за лакеем – благо за извозчика не платить. Приезжаем, снимать пальто, смотрю, я без сюртука, – забыл! Скорей назад – пешком. Пока бегал... Отец страшно был огорчен. «Никогда из тебя ничего не выйдет». А мачеха одно – бросать академию и поступать в инженеры. Какой я инженер?! Ну, что с ней сделаешь?.. В тот же день отец с ней и уехали, потом оказалось, неделю жили здесь. Мачеха ушла в другие комнаты, отец сует: «Спрячь...» Попрощался, выхожу, смотрю – банковый билет на тысячу рублей. А при мачехе твердил одно: «Пока не бросишь, – никакого содер-

жания». Надолго, как думаете, хватило мне этих денег? Через месяц ничего не осталось. Ведь нужда в академии у нас страшная – влечет ведь только чистое искусство... Ну, бог с ними, как пришли, так и ушли, – только и всего, что поел за этот месяц. Зашел как-то в один небольшой ресторанчик, подают карточку. «Что прикажете?» Посмотрел, – говорю: «Давайте все по порядку». Всю карточку так и съел. Раз прихожу я в академию, порисовал, пошел потом в курительную. Смотрю, Захаров стоит у окна и платком глаза вытирает. Я к нему. «Голубчик, что с вами?» – Получил письмо, только-что отец умер. Мачеха пишет, что после смерти отца ничего не осталось, и высылать ему нечего. Таким образом и он сразу сел на мель. Я предложил ему свою комнату: жить вместе для дешевизны, предложил ему поделиться заработком в солдатском журнале: там работа была периодичная, и таким образом я лично терял меньше, чем могли мы зарабатывать вдвоем, – иной месяц доходило даже до двадцати рублей. Для удобства и лучшего питания мы решили столоваться у нашей хозяйки. Помню наш первый дебют – дала она нам щей и внесла горшок каши, а сама ушла. Мы с Захаровым принялись за щи, за кашу и вдвоем горшок каши кончили. Приходит хозяйка. «Да что же вы наделали? Ведь эта каша, кроме вас, еще для двух квартирантов да для меня с теткой!» Совестно нам; идем грустные в академию, – животы отдуло нам от этой каши – и тяжело и совестно. Вот, так и зажили мы. На лето на дачу переехали: наша хозяйка ма-

ленький огород имела на Ланском шоссе. В землянке уступила нам комнату, окошко маленькое, капуста растет, ветла, канава с водой, а хорошо – лучше и времени не было, – триста этюдов привезли к зиме в город. Зимой Захаров вдруг влюбился и женился. Средств не прибавилось, а рот прибавился. Разделили мы нашу комнату пополам. Перегородку сделали из наших этюдов. Разделили так что половина окна к ним отошла, другая ко мне; только-только кровать моя устоялась; моя передняя половина, их задняя. Все это ведь обдумывалось сколько. Год прожили, на следующее лето ребенок. Все та же комната, те же средства – четвертый пассажир. Мою половину от середины комнаты пришлось срезать и повести перегородку на угол в пользу увеличения их половины. Корзина, где Манюрка спала, приходилась как раз у моего изголовья. И кричала же она, ночью особенно, так что никаких сил не было – голова пухла от ее крика. Так два года мы прожили, пока не кончили. Хотели и дальше так жить, да я влюбился и женился. Женился, а жена моя и не захотела селиться вместе, – пришлось нам расстаться. Через год, впрочем, жена бросила меня, а Захаров уехал в Париж на счет академии. Так нас и разлучила жизнь на целых пять лет. В это время отец мой умер, и я сразу, стал богачом. Не надолго. Успел выстроить в имении мастерскую – ах, батюшка, поразительная мастерская! Купол стеклянный, а сверху железная опускная крыша, – электрической пуговкой можно было дать какое угодно освещение, а в случае грозы и

всю крышу поднять одним нажимом пуговки. Какой камин был устроен, бюсты. И не пришлось в этой мастерской ни одной картины написать; теперь это имение в руках купца, ссыпает в мастерскую эту хлеб... Ужасно... Сам я в Париже тогда жил, передал управляющему все, – ничего ведь не понимал. Я предложил ему: «Я ничего не понимаю, – у вас знание, у меня имущество, будем работать пополам». Через два года получил телеграмму, что имение продано с торгов за какую-то неустойку по поставке шпал на железную дорогу, – у меня был прекрасный сосновый лес, и вот соблазнился управляющий выгодами... Так все прахом и пошло... Приехал вот и застрял здесь в этом городе – даю уроки...

– А Захаров?

– Захаров... Вхожу я однажды в Париже в кафе, смотрю, сидит какой-то старик. Еще раз посмотрел: показалось что-то знакомое. «Захаров, ты?» Он. «Ну, как ты? Жена? Маня?» – Пойдем ко мне, – все расскажу. – Ни жены, ни Мани. Жена с дочерью сбежала с одним его учеником. Подлость какая: человека приютил, на ноги поставил, – отблагодарил, – увез жену... Прекрасная мастерская, множество заказов, много начатого, – но все уже брошено, – пьет. Громadный талант, в Salon уже картины выставлял... Посидел я, посидел у него, совершенно другой человек, точно забыл он все прошлое. Умер. Попрощались, обещал он зайти ко мне на другой день, не зашел... Подождал его до вечера и поехал к нему, – застрелился... На мое имя письмо оставил... я

слишком много ему напомнил и слишком безвозвратно было все: не хватило сил...

Когда художник кончил, профессор сказал ему:

– Это, конечно, очень грустно, что с вашим другом случилось такое несчастье, которое разбило его жизнь, но я не понял, в чем же вы обвиняете того ученика его, которого любила жена покойного?

– Да, помилуйте, – горячо заговорил художник, – змею же отогрел на груди: выучил его, помогал ему, и вот благодарность: жену стащил.

– По его мнению, жена – вещь, собственность? – спросил профессор. – В этом, конечно, и все его несчастье... если бы у покойного не было такого взгляда на женщину, если бы он вырос и воспитывался в уважении к свободному чувству, – он и не пережил бы той драмы, которая свела его в могилу...

Художник растерянно развел руками и сказал смущенно:

– Да, может быть...

– Ну-с, – засуетился Абрамсон, боясь чего-то, – теперь ваша очередь.

Он обратился к доктору.

– Ну, мне нечего рассказывать, – махнул рукой доктор, – нынешним людям. Ведь отставку мы получили чистой и по этой отставке, вышло, что дураки мы были круглые. От нас, дураков, только и вышли, что умные дети, которые поняли, что вот мы, их отцы, дураки... Политика – ерунда, личность – ерунда, идеализм – ерунда... Спрашиваю одну мо-

лодую парочку из новых: «Вы свободные, зачем же вы в церковь венчаться ходили?» – «Да чтобы времени потом не терять на приписку незаконных детей в разные мещанские общества». Думается мне, однако, что все это в сущности оппортунизм. Нет, я не буду рассказывать, – не то... пиво вот только лучше стало, – я и пью его.

И профессор поднес стакан к губам и так пил свое пиво, точно разговаривал с ним: сосредоточенный, удовлетворенный в своей неудовлетворенности.

– Немного тенденциозный, нетерпимый, как все семидесятники, но прекрасный, добрый, честный, – говорил Абрамсон про своего приятеля доктора, когда гости ушли, – только вот уже пьет, кажется... Он вам понравился?

– Да, очень...

– А художник? Очень добрый он, сердечный... Как все художники, – извинялся Абрамсон за художника, – народ безыдейный, конечно: ловят там себе неуловимое, тона, полутона, одна сотая часть тона, и счастливы!

Абрамсон поджал к груди руки, растопырил пальцы и тревожно ждал моей реплики.

– Очень, очень симпатичный, – успокоил я его.

– Ну, я очень рад... Вы устали?

И Абрамсон засуетился насчет кроватей, сна.

## XXIII

Направление линии, против первоначального, было мной немного изменено с целью подойти к громадному удельному имению с большими промышленными заведениями в нем, с образцовой сельскохозяйственной культурой. Помимо того, что имение давало много груза, практическая выгода заключалась и в той поддержке, какую предложил удел в деле осуществления проекта дороги. Значение этого последнего обстоятельства сознавалось, конечно, всеми, но явились и недовольные, главным образом те, мимо имений которых должна была бы пройти прежняя линия.

Зато явились и новые союзники и в числе их очень влиятельный и сильный Проскурин.

От имения Чеботаева новое направление отходило всего верст на пять, так что существенно его интересы не нарушались.

Перед заседанием мы встретились с ним в коридоре, поздоровались и прошли даже несколько раз по коридору.

Чеботаев, сонно, жуя слова, – признак волнения, – говорил мне:

– Я очень сожалею о наших личных отношениях и, конечно, принимаю поддержку друг друга в общественной деятельности. Я вполне сочувствую дороге, тем более, что она удовлетворяет и моим личным интересам, хотя и проходит

теперь немного дальше... Кстати, мой управляющий находит, что если б линию повести от Козловки песчаным оврагом, то можно было бы, не удлиняя ее, пройти мимо самой усадьбы... Я, конечно, ничего не понимаю в этом, но, если бы оказалось возможным... это было бы очень хорошо... При таких условиях я дал бы даже безвозмездно песок, нужный для дороги...

– Я непременно сделаю вариант в этом направлении, – ответил я.

– Это, конечно, не существенно... Я поддержу проект, но энергично действовать не буду, так как, вы понимаете, дорога слишком близко проходит возле меня и всегда возможен упрек в пристрастии... Тем более, что во главе оппозиции теперешнему направлению вашей дороги стоит такая личность, как граф Семенов.

– Он будет противодействовать? – спросил я.

– Да, и он даже составил новый проект от какой-то станции через свое имение... Он вошел в соглашение и заручился даже поддержкою правления существующей дороги и, пользуясь тем, что начальник этой дороги ваш принципиальный враг и не сочувствует узкоколейным, – остановился на ширококолейном типе. Нехорошо то, что при этом Семенов выставляет вас фантазером, у которого никакой почвы, никаких связей в министерстве нет, все, напротив, там враждебны узкоколейной дороге, и вас ждет несомненный провал, тогда как начальник здешней дороги пользуется боль-



шим значением и не дальше, как при последнем проезде министра...

– Но этого министра уже больше нет, – перебил я, – а новый, несомненно, с высокими нравственными достоинствами соединяет в себе и широкое понимание государственных задач. Что же до общего настроения нашего министерства, то, к сожалению, Семенов прав, и я не пользуюсь там фавором, хотя и получил уже любезное приглашение от нового министра продолжать государственную службу. – Письмо было у меня в кармане, я вынул его и, показав Чеботаеву, продолжал: – Насколько я осведомлен, новый министр думает опираться на трех лиц в министерстве – своего теперешнего помощника, инженера Сумарова, и инженера Зернова, председателя одного технического общества. Товарищ министра мой учитель в деле узкоколейных дорог, а от Сумарова я тоже имею пригласительное письмо. – Я показал письмо и Сумарова. – Что до Зернова, то и он человек идейный, и в железнодорожном журнале за тысячу восемьсот девяностый год он и все его общество выразили сильно мне свое сочувствие.

Прочитав, Чеботаев, не скрывая удивления, сказал:

– Все, это, впрочем, произошло, как видно из этих писем, в самое недавнее время, и наша публика не в курсе дела... Все думают, что ваши акции по-прежнему стоят плохо... Это необходимо распространить... Мне неудобно самому, – это вам отлично проделает Проскурин: ему необхо-

димом показать все эти письма, чтобы он успел разбить мнение, что с вами опасно связываться, потому что вы не имеете-де почвы.

– Да, это необходимо, – согласился я.

Мы расстались с Чеботаевым, и я пошел разыскивать Проскурина. Проскурин со своей партией был в буфете и, сидя сам на столе, рассказывал что-то о бабках лошадей своего завода и о том, как Бегаров сморозил круглого дурака при своем посещении Проскурина, желая показать, что и он не лыком шит.

Я не понял всей соли слов Бегарова, но они вызвали дружный и энергичный хохот компании Проскурина.

– А выпить он все-таки не дурак, – прибавил снисходительно Проскурин, – дерптский студент, морда вся в шрамах, кажется, хочет по крайней мере быть порядочным товарищем. Надо будет как-нибудь к нему-то съездить: говорят, он любит женщин и по очереди привозит к себе каждый раз новую национальность... Теперь у него гостит американка, а он уже мечтает ехать куда-то в глубь Африки к какому-то племени, женщины которого...

Проскурин понизил голос, и слова его были покрыты новым взрывом хохота.

Проскурин развел руками.

– Миллионер, хотя батька и ростовщик.

– Тьфу, – плюнул высокий, молодой, изысканно одетый и накрахмаленный Свирский.

– А тебе что? Он-то сам другой человек, ему-то, что ж, деньги не за окно же выбросить... – заступился Проскурин и, махнув рукой, прибавил: – Он, положим, и бросает их в окно: скоро спустит...

– Здравствуйте, – поздоровался со мной Проскурин с той манерой, которая была и любезна и в то же время не противоречила в глазах его друзей тому, что, может быть, говорил он и обо мне здесь за несколько минут до моего прихода.

Так же неопределенно поздоровавшись, с всей проскуринской компанией, я рассказал, что вот слышал, что граф Семенов играет на моем кредите, – так вот-де некоторые возражения.

И Проскурин и вся партия с живым интересом выслушали, прочитали письма.

– Это очень, очень важно, – горячо заговорил Проскурин, – давайте письма... Ах ты, Сенька-лизоблюд, складной аршин: тоже интригой занимается...

Говорилось это любовным тоном, потому что Семенов был приятелем и собутыльником Проскурина, но если некого, то и приятеля, конечно, приятно было посадить в чернильницу.

– Мы ему очную... Сначала совершенно серьезно будем слушать, заставим повторить все сплетни, – так, так, – а потом и ткнем его, как котенка нагадившего: «Нюхай, нюхай...» Надо побольше народу, чтобы скандал распространился до заседания... – Он подмигнул мне: – В такой форме

нужное лучше усвоится, а потом с Сенькой мы помиримся...  
Что-то представителя уделов нет: поезжайте-ка за ним...

Проскурин обратился к старику председателю управы его уезда.

– Ладно, съезжу, – кивнул тот головой.

В буфет уже вводили в это время под руки графа Семёнова, ничего не ожидавшего, веселого и изысканно любезно раскланявшегося со мной. Я ушел и не присутствовал при дальнейшем.

Когда собрание открылось, мне предложено было занять место докладчика и познакомить собрание с результатами моих изысканий.

Большая зала с рядами желтых скамеек была полна народом. На меня смотрели со всех концов со всевозможными оттенками выражений лица: вот сонное – Чеботаева, пренебрежительное – Проскурина, умное, настороженное, с приставленной к уху рукой – Бронищева. Смотрят лица апатичные, равнодушные, заинтересованные, враждебные, в общем все чужие.

– Милостивые государи, – начал я, – на уездных собраниях я имел уже честь говорить о проектируемой дороге и избранном для нее типе. Ввиду насущной необходимости и громадной принципиальной важности затронутого мною вопроса о типе дороги я позволю себе еще раз вкратце изложить мои положения.

Всякое дело требует соответственной энергии. Неразум-

но будет паровым молотом бить орех, когда его можно разбить маленьким ручным молотком. Очень хороша голландская телега, в которой можно везти триста пудов, но для нашей клячи, поднимающей двадцать, она не годится. По экономическим изысканиям выяснилось, что груз нашей дороги всего пять миллионов пудов. Широкая колея, стоящая сорок тысяч рублей за версту, для которой нужен груз в тридцать-сорок миллионов, с расходом в шесть тысяч на версту, здесь совершенно не применима, так как вся доходность проектируемой дороги не превысит тысячи восьмисот рублей на версту. Пользуясь влиянием, случаем, можно, конечно, добиться и широкой колеи, но при таких условиях она будет и неразумной и несправедливой в том смысле, что, оделяя одних всеми благами лучших путей, на долю других, таких же плательщиков, ничего не получится, так как нельзя в убыток выстроить до двухсот тысяч верст, то есть всю нужную нам сеть таких дорог. И таким обездоленным отдаленной от них дорогой не только ничего не будет дано, но, напротив, она сугубо разорит их, создавая для них обязательные и неизбежные условия. Условия тяжелые, совершенно разорительные: так, пуд хлеба в имении, лежащем на железной дороге, на тысячи верст оплатится суммой всего пятнадцать-двадцать копеек за пуд провезенного груза, а имение в ста верстах от этой дороги прежде, чем поставить пуд своего товара в равные с первым имением условия, должно израсходовать пятнадцать-двадцать копеек на гужевую перевозку.

При таком положении дела получается неравенство конкуренции не только на мировом рынке, но и внутри страны, такое, которое данную страну ставит прямо в безвыходное положение; мы сами себя бьем и режем, являясь с грузом, благодаря невыгодности перевозки обесцененным до невыгодности производства, до необходимости приплачивать к нему. Это, конечно, только одна из причин упадка нашего хозяйства, но ее одной уже достаточно для того, чтобы понять, почему, большая часть земель дворянских ушла уже на доплату к невыгодному промыслу. Земля, правда, перешла к купцам, купцы хлеб не сеют, предпочитают сдавать землю крестьянам, но положение вещей изменяется только в том смысле, что с такого момента тем энергичнее пойдет разорение этого крестьянина. Тот доход, о котором, сея хлеб, мечтал помещик и никогда не получал, купец теперь получает с крестьянина, сдавая ему по двадцать рублей десятину. Но работа крестьянина при таких условиях является даровой, и положение его в общем стало неизмеримо худшим в экономическом отношении, чем было даже в крепостное время: тогда он половину труда отдавал барину, а теперь весь труд отдает...

– И совершенно справедливо, – с огорченным вздохом перебил меня гласный крестьянин, старшина нашей волости, – Филипп Платонович.

Все повернулись к нему, я остановился, а Филипп Платонович, большой, широкоплечий, с выющимися, маслом вы-

мазанными волосами, с окладистой русой бородой, приподнявшись и слегка прокашливаясь, еще с большим огорчением и громче повторил:

– Говорю: справедливо. Справедливо и верно докладывать изволите: купец и сливки и кислое молоко снимет, и ничего крестьянину остаться от него не может, – так, впустую работа, вроде того, что заехано, наброшен хомут и тащи до последнего... И все это так уж верно и ни с какой крепостью не сравнится, а только я считаю, что и железная дорога тут мало поможет нашему брату: купцу, действительно, дворянину.

– Прения будут после, – перебил его председатель Чеботаев.

– Извините, пожалуйста, – сказал Филипп Платонович, – это только так, к слову я, а я не против дороги: великая и от нее польза может быть, если кто сам хозяин своей земли...

С хоров, где сидела публика, раздался звонкий, как колокольчик, голос:

– А хозяин тот, кто ходит по этой земле...

Я случайно сразу попал взглядом на говорившего: совсем юноша, с золотистыми волосами, нервным тонким лицом.

Председатель позвонил и сонно сказал:

– Если что-либо подобное повторится, я вынужден буду...

Он не договорил и кивнул было мне головой. Но Проскурин, довольно громко пустив: «экая дубина...» – вскочил и резко крикнул:

– Нельзя же позволять земское собрание превращать в место для социалистической пропаганды!

Чеботаев покраснел, как рак, замигал глазами и, посмотрев уныло на Бронищева, кивнул ему головой: каков, дескать, гусь?

Тот же голос крикнул из публики:

– Проскурин дурак и доносчик!

Поднялся невообразимый гвалт.

– Перерыв, перерыв, – громким голосом кричал Чеботаеву Бронищев.

– Объявляю перерыв.

Проскурин настоял послать за полицией, но молодой человек, наделавший весь этот переполох, и сам уже оставил собрание. Так и не нашли его и не узнали, кто он.

Проскурин не был ни дураком, ни доносчиком.

Он, как умный агитатор и деловой администратор в своем уезде, сам опирался на прогрессивную партию. И ни в одном уезде не были так хорошо обставлены школа, медицина, статистика, как в его уезде. Проскуруину просто надо было интриговать вообще и в частности против нового председателя, а средствами он не привык стесняться. С другой стороны, Проскурин был и архиреакционером. Он как бы стоял одной ногой на Сцилле, другой на Харибде и по мере надобности поднимал то ту, то другую ногу, превращаясь таким образом то в чистого сциллиста, то в отчаянного харибдиста. Это давало ему громадное преимущество перед неповоротливым,



тяжелым, но честным тиходумом Чеботаевым.

И надо было отдать должное Проскурину: при такой же, в сущности, малограмотности обоих, он, более талантливый, более способный понимать дух времени, умел прислушаться к тому, что ему говорили, и громко в собрании потом повторял так это, что нередко производил впечатление человека образованного, с широкими горизонтами.

Чеботаев же действовал на совесть и, отказавшись от былого либерализма, бежал в то же время и от всех представителей его, боясь их, не понимая. И, как человек хороший и чистый душой, он не мог лукавить, играя с ними в прятки.

Все это понимали, жалели его, но толпа – всегда толпа, и все предвкушали будущий интерес травли медведей искусным охотником и его ловкими собаками. Вышеописанный, ничтожный сам по себе инцидент окрылял в этом смысле для одних веселые, для других – печальные предположения, и все говорили.

– Трудно будет Чеботаеву.

Когда заседание снова возобновилось, это «трудно» чувствовалось во всей фигуре нового председателя: он точно держал на плечах громадный груз, который вот-вот от неловкого движения опрокинется и раздавит носильщика. Чеботаев точно кряжистее стал, и ярче обрисовался татарский его тип, круглее становилась лысевшая голова, напряженнее смотрели немного раскошенные, угрюмые и раздраженные и в то же время и испуганные и недоумевающие глаза.

– Объявляя заседание открытым, – начал Чеботаев, – я просил бы собрание и господ докладчиков не отвлекаться и не давать самим повод к печальным событиям предшествующего заседания.

Проскурин недоумевающе пожал плечами и про себя, но все-таки достаточно громко, разводя руками, фыркнул:

– При чем тут докладчики? И к чему эти ограничения?

Приподнявшись и изогнувшись так, как сгибают складной аршин на две половины, – одну перпендикулярно другой, – граф Семенов, со всей элегантностью бывшего дипломата-лицеиста, заговорил сладким голосом:

– Я надеюсь, ваше превосходительство, что вы разрешите, – граф Семенов сделал какое-то сладострастное кошачье движение своим корпусом, – тем не менее излагать докладчикам так, как они находят это необходимым в интересах дела, и полагаю... что только при таких условиях собрание может, – граф Семенов еще нежнее задвигался, – ознакомиться с такими вопросами, которые собранию по самому своему существу очень мало известны...

Граф Семенов почтительнейше-великолепно поклонился, с какой-то глуповатой физиономией обвел глазами собрание и, осторожно раздвинув фалды своего изящного редингота, сел на свое место.

– Не будем же тратить время! – раздраженно, мрачно и громко, как выстрел из пушки, пустил Нащокин.

Чеботаев после этого повернулся ко мне и сонно сказал:

– Прошу.

Интерес, собственно, к докладу пропал и у меня и, – я это чувствовал, – у других. Тем более, что решение вопроса в мою пользу было обеспечено. И что, в самом деле, повторять в двести первый раз доводы, что хотя и прекраснее и удобнее наша русская, самая широкая в мире колея, но если она не по средствам и богачейшим в мире странам, если мы не можем выстроить в ближайшем будущем всех нужных нам двухсот тысяч верст таких дорог, то надо строить хоть те дороги, которые мы можем строить и без которых окончательно остановится экономическое развитие страны? Что говорить о принципиальной постановке вопроса, когда самые благожелательные и самые чуткие к экономическому развитию края из присутствующих на все мои доводы о необходимости прежде всего равных условий конкуренции, слушая и поддакивая, заканчивали со мной разговоры приблизительно так:

– Конечно, конечно... Сперва надо хоть что-нибудь, а потом там в Петербурге при переменившемся отношении к вам, может быть, можно будет в последний момент и широкой колеи добиться: ведь и для вас же самих, для ваших грузов она удобнее же...

Из сегодняшних всех разговоров после показанных писем особенно ясно было, что люди эти, начав все дело, исходя из положения, что лучше что-нибудь, чем ничего, теперь, когда они, веря в меня, чувствовали уже какую-то почву под нога-

ми, надеялись в данном уже частном случае склонить меня в конце концов к широкой колее.

Когда я вставал, чтобы уже идти на кафедру, Проскурин перегнулся ко мне и дружески, тихо сказал:

– В сущности, чеботаевская реплика нам на руку – в интересах провести скорее дело, лучше не ставить точки над *i* и таким образом вырвать у Сеньки его главный козырь относительно широкой колеи... Пусть надеются...

Я, конечно, понимал, что сам Проскурин был первый из надеявшихся, – его и всей его партии обращение со мной сегодня сразу и круто изменилось, – понимал, что не следовало мне и разрушать до времени эти надежды, и, тихо ответив: «Вы правы, конечно», пошел к кафедре.

– Во исполнение желания его превосходительства, – я сделал легкий поклон в сторону председателя, – я перейду к изложению чисто фактической стороны дела...

– Очень жаль, – пробасил уныло и меланхолично Старков, – принципиальная сторона здесь в высшей степени интересна, и в данном случае она совершенно не расходится ни с задачами данного собрания, ни моего органа, хотя и служащего главным образом интересам уезда...

Со всех сторон закричали:

– К делу, к делу!

Только Проскурин кричал весело, иронически Старкову:

– Вы совершенно правы.

Старков покраснел, как рак, замолчал и стал прокашли-

ваться, а я собрался продолжать, когда встал бывший конкурент на прошлых выборах Проскурина, Корин, и заговорил. И, по обыкновению, сразу раздражился. Он говорил нервно, с ужимками, ехидно, очертя как-то голову, набрасываясь на кого-то.

Этот кто-то, хотя и был в данном случае его кровный союзник Чеботаев, но уж таков был нрав у Корина.

– Я, в сущности, – говорил он, – не понимаю, – он поднял плечи, бессильно показал на свою лысую голову и вообще сделал все, что только зависело от его мимических способностей, чтобы изобразить непонимание, – не понимаю, почему мы лишаемся и удовольствия и пользы выслушать обстоятельный доклад по вопросу, в высшей степени интересному...

Проскурин и его партия уже громко и благодушно смеялись.

Поднялся Николай Иванович, изысканный, вежливый, и, тоже улыбаясь, тихо заговорил:

– Господа, мне кажется, мы немного забегаем вперед. Предоставим пока все это усмотрению докладчика: ведь его же никто еще пока не остановил... а дело уже и остановилось...

Бронищев, с разведенными руками, улыбался, ласково смотрел на всех, и все также улыбались и соглашались, говоря:

– Да, конечно...

Оставаясь тем не менее на фактической почве, заявив только, что все доводы мои, изложенные на уездных собраниях, в сущности, уже известны, я быстро закончил доклад.

– Кто желает возражать? – спросил успокоенным голосом председатель.

Граф Семенов молча поднялся, поклонился и некоторое время многозначительно молчал.

– Уважаемый докладчик обладает, конечно, по данному вопросу таким запасом и теоретических и практических знаний, перед которыми мои и все наши сведения являются настолько ничтожными, что я даже не вижу возможности бороться... Я позволил бы себе только просить собрание вместе с проектируемой докладчиком дорогой признать таковую же полезность и мною проектируемой: я просил бы оба эти вопроса баллотировать одновременно.

– Ловко повернул, – нетерпеливо шепнул Проскурин и сказал громко: – Вопросы поставлены отдельно, и теперь их нельзя менять. Ваше заявление собрание выслушает, ничего против него нельзя иметь, но, чтобы не тянуть, надо приступить к баллотировке по очереди.

Он повернулся к председателю и кивнул ему головой в знак того, чтоб не тянул тот.

– В таком случае, если собрание ничего не имеет против моего проекта, я тоже ничего не имею против проекта докладчика, – ответил Семенов.

– Как угодно собранию, – обратился Чеботаев, – баллоти-

ровкой или вставаньем решить вопрос?

– Вставаньем.

– Согласных с докладчиком прошу встать.

Все встали.

Но затем, когда граф Семенов взошел на кафедру, произошло нечто неожиданное. Первым встал Проскурин и вышел. За ним начали вставать и выходить очень многие до тех пор, пока кто-то не крикнул:

– Господа, да ведь нас незаконное число теперь!

Стали считать, и действительно оказалось всего семнадцать голосов.

– Надо позвать их, они в буфете вероятно.

Пошли звать в буфет, но там никого уже не было. Проскурин и все его уехали.

Возмущались, требовали примерного наказания Проскурина и его партии, но тем не менее собрание до завтра пришлось закрыть.

На подъезде ко мне обратился одетый в элегантное котиковое пальто Свирский и сказал:

– Проскурин просил привезти вас в гостиницу, чтоб объяснить вам, в чем дело.

Рысак Свирского был у подъезда, мы сели с ним и поехали.

В большом отдельном кабинете человек двадцать земцев с Проскуриным во главе уже сидели по стульям и диванам, курили, смеялись и смотрели, как лакеи торопливо уставля-

ли закусками стол.

Когда дверь отворилась и мы вошли со Свирским, Проскурин быстро, с располагающей, невольно привлекающей к себе манерой пошел ко мне навстречу.

– Мы позволили себе в честь вас устроить этот завтрак, и я сейчас вам объясню те исключительные обстоятельства, в силу которых все это так...

Он развел руками и, так как в это время как раз проходил лакей с грибками, пальцами попал в тарелку с грибками.

На усиленный возглас лакея «извините», Проскурин, бросив ему презрительное «дурак», вытер салфеткой пальцы и, прося меня сесть, сел сам, продолжая:

– Этот завтрак мы задумали и ждали перерыва, чтобы пригласить вас, когда граф Семенов поставил свой вопрос так, чтоб одобрить оба направления... Черт с ним, пусть и он строит свою, но две сразу дороги, в смысле практического произведения – слишком жирно будет для губернии, и в такой постановке вопрос об очереди передается в Петербург, а очередь наша ведь: мы же первые, он потом уж додумался... А сегодня как раз могло и не случиться желаемого нам большинства: представителя Уделов нет. Нет и... – Проскурин назвал несколько фамилий. – Необходимо было поэтому сорвать заседание – вот мы и удрали, а завтра наше большинство будет обеспеченным, мы Сенькиному проекту выразим сочувствие, но поставим его во вторую очередь...

Двери кабинета в это время шумно распахнулись, на по-



роге стоял граф Семенов, с следами снега на висках приглаженных волос, держа в руках из прекрасного бобра шапку, и говорил и ласково, и в то же время и гневно, и с упреком:

– Свиньи! И даже не позвали: случайно узнал...

Веселый смех приветствовал его, а он, снимая перчатки и бросая их небрежно в шапку, говорил:

– Ладно, ладно, и на моей улице будет праздник, и завтра вам такой скандал устрою, что закаетесь такие штуки проделывать.

Граф Семенов заговорил уже серьезно:

– Свинство ведь, ей-богу! во что же вы превращаете собрание? Никакого уважения!..

– Ох-ох, – пренебрежительно фыркнул Проскурин, – гром из навозной кучи, чья бы корова мычала...

На другой день в собрании все так и прошло, как и предсказывал Проскурин.

Еще раз наглядно почувствовалось, что, в сущности, хозяин собрания Проскурин и без его поддержки Чеботаев бессилен, и вышучиванию его Проскуриным не предвиделось конца.

Чувствовал это, конечно, и Чеботаев и уже не проявлял никакого желания при таких неравных условиях идти на борьбу с Проскуриным. Не воспользовался даже и законным вполне поводом к тому, и сам свел на нет вопрос о вчерашнем исчезновении из заседания проскуринской партии.

И Проскурин презрительно говорил:

– А, толстая татарская морда, завилял хвостом... Пстой, не так еще завиляешь.

## XXIV

С полномочиями, с депутатами от земства я сейчас после собрания выехал в Петербург.

Самое трудное было еще впереди. Все земства хотят и сознают необходимость железных дорог; просят; со всех сторон уполномоченные земств, как и мы, ездили, едут и будут и впредь ездить в Петербург хлопотать о манне небесной – о железных дорогах, каждый для себя. Там в передних министров во фраках и во всех своих, бедных количеством, регалиях будут они толпиться, обивать пороги, будут сперва верить, надеяться, пока не устанут, наконец, и, разочарованные, не воротятся домой, давая зароки:

– И ездить не стоит, и тратиться не стоит, и дубьем надо гнать всех этих прожектеров новых железных дорог.

Так будут зарекаться они, а великая нужда экономическая будет продолжать свою неумолимую и безостановочную работу, и самые упорные скептики в конце концов опять будут вставать на собраниях в знак согласия, будут и ездить и стучаться в негостеприимные двери будут по изречению: «Толцые, и отверзется».

Надо было предпринять что-нибудь особенное, найти какую-то новую дорогу, какой-то иной ход, который привел бы вернее к цели.

Этот ход для меня был – общественное мнение.

Теоретически уже был поставлен мною в печати вопрос. И был поставлен резко, кричащим образом: я указывал на крупную историческую ошибку принятой у нас колеи, доказывая, что выстроенное у нас количество железных дорог не составляет и одной пятой нужной нам сети и что поэтому лучше переделать эту одну пятую и сейчас же начинать строить более узкую, чем даже западная, колею, нам, бедным и капиталами и грузами. Я доказывал, что и Сибирскую железную дорогу, стоимость которой исчисляется в среднем шестьдесят тысяч рублей верста, надо строить по типу проектировавшейся тогда узкоколейной Архангельской дороги, не уступавшей ни в чем по силе и провозоспособности лучшим ширококолейным, но стоившей всего тридцать пять тысяч рублей верста при перевозке сорока миллионов пудов. И не только не уступавшей, но во многом превосходившей, потому что, при той же, например, подъемной силе вагонов, узкоколейный вагон легче на двести пудов, что при пятидесяти вагонах в поезде уменьшало непроизводительный груз поезда на десять тысяч пудов одного только поезда с грузом в тридцать семь тысяч пятьсот пудов. Это ведь почти тридцать процентов. При общем нашем двухмиллиардном грузе вместо этих излишних шестисот тысяч миллионов пудов мы могли бы перевезти шестьсот тысяч миллионов пудов настоящего груза. То есть, другими словами, мы могли бы платить на тридцать процентов дешевле за перевозку, — это шестьдесят миллионов в год, — и эта одна экономия уже могла

бы явиться неиссякаемым источником, фондом для новых и столь необходимых нам дорог.

Повторяю: я ставил резко вопрос, запрашивал, что мог, чтобы ярче остановить внимание на нем.

Отчасти я достиг цели. Одни, недоумевая, разводили руками, другие с пеной у рта ругались, третьи смеялись, называли меня узкоколейником, но все заспорили, заговорили. И заговорили в том мире, который практически является решителем этих вопросов, – в мире крупного и мелкого петербургского чиновничества.

Я теперь ехал уже с изысканиями, переходил, таким образом, от слова к делу, которому в общей печати, собственно, места, как частному вопросу, уже не было.

Тем не менее и в этой уже частной и чисто практической постановке я, решив действовать гласным путем, остановился на докладе в Техническом обществе, председателем которого был инженер Зернов. По приезде в Петербург я обратился сейчас же к Зернову.

Зернов отнесся сочувственно, и скоро в газетах появился анонс о моем предстоящем докладе.

Все вышло несравненно более торжественно, чем предполагалось. Зала оказалась переполненной публикой. И публикой самой разнообразной. Сверх обычных специалистов на скамьях, за скамьями у стен, у дверей стояли иные люди. На этот раз это была скорее аудитория Вольноэкономического общества: литераторы, люди науки, студенты и студентки.

Я был очень смущен этим и решил как-нибудь так обставить мой, в сущности, чисто специальный вопрос, чтобы заинтересовать и не специалистов. Я подготовил наскоро введение об отсутствии интереса в обществе к развитию у нас железных дорог и о причинах этого.

Я не буду подробно останавливаться на своем провале благодаря этому злосчастному введению.

Когда шум двигающихся стульев затих, председатель инженер Зернов открыл заседание таким торжественным заявлением:

– Необычная полнота аудитории сама говорит о том интересе, который возбудил докладчик. Я с своей стороны не сомневаюсь, что интерес этот будет оправдан.

Но уже через пятнадцать минут, когда одно высокопоставленное лицо встало и вышло из зала, председатель прервал меня словами:

– К сожалению, я вынужден вас остановить. Ваше выступление о том, как смотрят на железные дороги та или другая фракция, может быть, и очень интересно и даже ценно, но не здесь, в аудитории специалистов. Здесь необходимо строго и точно держаться программы. И в диспутах, милостивые государи, я буду просить вас не касаться всех затронутых интересных, но, повторяю, не имеющих здесь места вопросов.

После этих слов аудитория быстро стала пустеть.

Я с завистью следил за уходившими. Меня и самого подмывало уйти вместе с ними и навсегда забыть и думать обо

всех специалистах.

Скрепя сердце, тем не менее, упавшим голосом я перешел к специальному вопросу и, скомкав его, как только мог, через несколько минут при пустой, более чем наполовину, аудитории, никого не удовлетворив, закончил его.

Жидкие аплодисменты были мне наградой, и я быстро вслед за другими стушевался.

Провалиться так, за здорово живешь, очень неприятно. Весь другой день под впечатлением этого провала я ходил смущенный, сразу очутившийся в очень фальшивом положении, и обдумывал, как мне теперь быть.

Вечером в тот же день был назначен доклад в обществе промышленности по какому-то железнодорожному вопросу. Я пошел на этот доклад, чтоб поучиться и посмотреть, как люди докладывают.

Какой-то инженер делал сообщение о какой-то дорожке обыкновенного ширококолейного типа.

Слушая, я все больше и больше приходил к заключению, что дороге этой надо бы быть не широко-, а узкоколейной. Поэтому, когда было предложено возражать докладчику, я и возразил ему в этом смысле, приводя для иллюстрации цифры своей дорожки. В сущности, это был мой второй доклад, сжатый и короткий, после которого я был награжден энергичными аплодисментами.

Высокий господин с длинной бородой, Михаил Иванович Казов, – очень важное сановное лицо, то самое, которое на

вчерашнем моем докладе так решительно встало и вышло, – подошел ко мне с обеими протянутыми руками и сказал:

– Теперь я вас услышал, а вчера... Я не знаю, вчера о чем вы говорили. Вчера я собрался послушать человека, о котором очень много слышал, статьи которого читал, и... совершенно разочаровался... о, сегодня другое дело, и теперь я вас не выпущу... Условимся, где и как нам увидеться?

Мы условились, и на другой день утром в десять часов я подъезжал к оригинальному дому Казова на Васильевском острове.

На звонок мне отпер лакей с благообразной физиономией.

На вопрос, дома ли Михаил Иванович, лакей, спросив мою фамилию, отвечал:

– Пожалуйте-с.

В маленькой передней я разделся и по винтовой лестничке, напоминавшей лестницы пароходов, поднялся на второй этаж.

Здесь, как и в кабинете, впечатление парохода или корабля было еще сильнее. Впоследствии оказалось, что Казов, бывший моряк, так и выстроил свой дом, чтобы он напоминал собой корабль.

Очень большой и длинный кабинет был весь уставлен всевозможными вещами. Тут были и модели пароходов, и разные станки, много столиков и на них альбомы, чертежи, портреты в рамках и так просто, лежали папки с какими-то бумагами. В громадных шкафах было множество книг боль-



ших, в красивых переплетах.

Весь кабинет был под черное дерево, и белые рисунки чертежей и гравюры в черных рамках рельефно выделялись.

В перспективе комнаты за большим письменным столом сидел сам хозяин, пил кофе и разговаривал с целой группой людей. Слышались языки немецкий, французский, английский. Хозяин спокойно наблюдал меня, пока я шел, и еще издали просто, без аффектировки, спросил меня:

– Кофе хотите?

– Хочу, – ответил я.

– Кофе, – крикнул хозяин, и лакей, снимавший с меня пальто, ответил:

– Есть!

– Присаживайтесь.

Я сел и стал слушать отрывки: о какой-то машине, об Архангельском побережье, об экспедиции Нансена, о другой какой-то проектировавшейся экспедиции, опять возвратились к Мурману, судоходству по Печоре. Англичанин что-то заговорил по-английски, и Казов стал записывать. Когда он кончил, все встали и начали прощаться.

В это время вошел новый посетитель – инженер, известный и крупный деятель в железнодорожном мире.

Казов удивился, что мы незнакомы, познакомил нас и спросил инженера:

– Вы сегодняшнюю почту заграничную читали? Есть интересное по нашему делу.

Инженер сказал: «ага», и, захватив пачку газет, ушел с ними в другой угол.

– Проводим проект новых семидесятитонных паровозов при семнадцатифунтовых рельсах, – рассеянно сказал Казов, кивнув головой в сторону инженера, и, перебивая себя, сосредоточиваясь, Казов сказал: – Вот что по вашему делу: необходимо, чтобы вас выслушал... – Казов назвал лицо очень высокопоставленное. – Если он заинтересуется, то он нам очень поможет. Лично я разделяю совершенно ваши взгляды, я говорил и с вашим министром, и он сочувствует, и в министерстве финансов, – вы знакомы с директором железнодорожного департамента? Странно, что вы никого не знаете. Необходимо познакомиться. Это один из самых дельных наших чиновников, это пульс теперь всего железнодорожного дела, с ним Россия, может быть, и начнет, наконец, покрываться железными дорогами... У него масса инициативы и комбинаций, он умеет развивать самостоятельность... Прежде всего необходимо сделать вам доклад, без введений на этот раз, серьезный, деловой, короткий. Наподобие вчерашнего. Я попрошу и Зернова, еще два человека я имею в виду. – Он назвал две фамилии. – Устроим целое заседание... Вот что, я вам дам карточки к ним, – поезжайте и условьтесь с ними относительно дня, когда вы все соберетесь у меня, решится тогда уже и день доклада... приблизительно в конце этой недели.

В конце недели предполагавшийся доклад действительно

состоялся.

Громадная аудитория на этот раз была полна инженерными, военными и морскими мундирами исключительно. За особым столом сидел почетный президент, окруженный генералитетом.

Я говорил последним. Я говорил о нищете в наших деревнях, об упадке сельского хозяйства, об отсутствии у нас каких бы то ни было путей сообщения, о необходимости широкой свободы в смысле разрешения их постройки, типа и эксплуатации.

– Опека чиновника губит дело. В Бельгии не спрашивают разрешения на типы, на постройку, – просто строят, как мы строим дома, и вывешивают объявления о приеме грузов и пассажиров, когда дорога готова. Жизненность там дороги зависит от ее приспособленности к требованиям страны, рынка. Только при таких условиях она и будет приспособленной, будет извозчиком, готовым отвезти именно в то время, когда нужно, и к сроку: и овощи на рынок, и хлеб в элеватор, и лес, и всю ту массу груза, которую деятельная дорога-извозчик (а не государство в государстве) могла бы создать: в этом конце нет камня, а тот нуждается в лесе, – из города надо вывезти удобрение, а в город привезти все деревенские продукты, и т. д.

Я кончил так:

– Если для постройки кабака не требуется разрешения, то для такого полезного дела, как дорога, нужна тем большая

свобода. Опека государства в интересах безопасности в данном случае чрезмерна: в неизмеримо более богатых, чем мы, странах государство совершенно довольствуется ответственностью за все несчастия устроителей предприятия. Если посчитать те сотни миллионов, которые тратим мы на безопасность, то окажется, что жизнь железнодорожных жертв оценивается десятками тысяч рублей, а в то же время дети в деревнях у нас мрут ежегодно от оспы, дифтерита и других повальных болезней, за отсутствием только лишнего врача и даже фельдшера. Мы десятками тысяч оберегаем жизнь на железной дороге, а сифилис, питание суррогатами и, как последствие, худосочие, голодный тиф уносят ежегодно миллионы жертв. С этой точки зрения существующая оценка и страховка жизней на железных дорогах – несправедлива, и в интересах меньшинства удорожается непропорционально наше железнодорожное дело. Этот вывод не мое умозаключение, а действительный факт из жизни стран и более богатых и более культурных. Тем менее основания опекать так второстепенные подъездные пути. Эта опека – главный источник удорожания. Рутинная опека – причина, почему у нас нет дорог. Меня поймет каждый, кто не имеет этих дорог, а не имеет их громадное большинство России. Эти откажутся от бархата и зеркал главных линий, откажутся от станций-дворцов, – они согласятся и на собачью конуру вместо станции, только тянулись бы от этой конуры два стальных рельса. Как вывод из сказанного, необходим опыт дороги де-

шевой, не шаблонной, дороги-извозчика, а она – государство в государстве.

Моим предшественникам аплодировали, я кончил при мертвом молчании аудитории.

Получился новый провал таким образом.

– Очень резко, не привыкли ведь к такому тону, – говорили мне.

– Судьба уж моя такая, – вздохнул я.

Каково же было мое удивление, когда Казов, проводив высоких гостей и возвратившись с радостным лицом, сказал мне:

– Мне поручено поблагодарить вас: аплодировать было неудобно: резко... Теперь можно начать мытарства и по министерствам.

Принципиально вопрос прошел довольно быстро и в форме, которая превзошла все мои надежды.

– Вот прочтите, – сказал мне однажды маленький, нервный и подвижной, как ртуть, директор железнодорожного департамента. – Вот там садитесь и читайте.

Я сел в кресло у окна большого казенного кабинета директора, а сам директор потонул за громадным своим столом, читая свои бумаги, запрокинувшись в кресло и как-то держа бумаги над головой. Потом я узнал, что он болел глазами, и ему грозила опасность и совсем ослепнуть.

Бумага, которую дал мне для прочтения директор, был доклад в Государственный совет о ежегодном кредите в десять

миллионов рублей на подъездные железные дороги.

Умно, толково, систематично ставился вопрос подъездных путей, их необходимость, необходимость строительной свободы и облегчения типов постройки и эксплуатации.

Директор из-за своих бумаг уловил мгновение, когда я кончил, и крикнул мне:

– Ну что?

Я радостно и смущенно ответил:

– Я двумя руками подписался бы под этим проектом.

Директор, улыбаясь, ласково и загадочно смотрел на меня и в то же время нервно грыз свой карандаш.

– Я бы не только десять, а тридцать, сорок миллионов асигновал бы в год, – сказал я.

– Вам, коли мед, так и ложка... Пока Сибирская не кончится, – и это непосильно. Да вообще за государственный счет постройка дорог... Надо развивать частную инициативу... Мы проводим теперь одну веточку от Осиповичей; если идея ее пройдет, она будет богата последствиями. В двух словах идея такая: ветка создает новый груз. Этот груз пройдет по другим дорогам, ну там до портов, до пунктов сбыта. Чистый доход от этих грузов идет на погашение затраченных предпринимателями-строителями капиталов. По расчету выходит, что ветка окупится в пять лет и поступит безвозмездно в казну... Тогда не то, что на десять, на пятьдесят миллионов в год можно будет строить, а в период двадцати лет казна, не затратив ни гроша, будет иметь сеть двести ты-

сяч верст железных дорог...

Маленький директор был едва виден в своем большом кресле. Он продолжал беспечно полулежать, и только ноги его нервно, ни на мгновение не останавливаясь, двигались, да карандаш энергичнее обыкновенного обгрызался.

– Может быть, придется эту идею и видоизменить, создать ряд железнодорожных банков, срок погашения впоследствии можно будет удлинять, уменьшать проценты, но это выход.

Директор умел как-то подчеркивать свою основную мысль, и тогда получалось впечатление ракеты, уже потухшей и снова вспыхнувшей в темном небе последним, ярким огнем. Так вспыхнуло и осветилось опять это слово «выход».

– А не ваши, поверьте, там узкоколейные... Ей-богу, – директор благодушно махнул рукой, – ведь теоретически вы не насчитаете в нашей ровной местности больше двадцати – двадцати пяти процентов удорожания широкой против узкой.

– Это теоретически, – перебил я, – а благодаря практике вещей, рутине, которая, как глубокая выбитая колея, бесповоротно захватила и направляет колесо, – удорожание получается вдвое.

– Ну, и боритесь с этим. Ведь Павлодарская ширококолейная с перевозкой двадцати миллионов пудов обошлась с подвижным составом меньше двадцати тысяч... Конечно, частная дорога, но постройка и должна быть всегда частная.

Конечно, если бы в начале постройки наших дорог мы сделали бы уже колею, было бы лучше, но суть вопроса все-таки не в этом, – ну, вдвое дороже, – что это через десять лет дороге, когда груз ее утроится, удесятерится?

– Все-таки это вдвое.

– А, какой вы! Забудьте вы о казне и ее постройках. Берите только двадцать процентов экономии. Одно уже то, что подвижным составом узкой колеи нельзя пользоваться для остальной линии, а каждая ширококолейная ветка увеличивает общий парк паровозов и вагонов, это одно что составляет?

– Конечно, при вашей постановке вопроса ошибка ослабится, – согласился я, – но и то очень много случаев останется, когда узкую колею вы ничем не замените: во-первых, в местностях пересеченных, во-вторых, в местах глухих, изолированных, где мало надежд на развитие грузов, а данный груз все-таки обесценивается.

– И все это частности: там и стройте...

Лицо директора опять стало благодушным, он весело кивнул головой.

– Подождите, мы еще покажем вам и выходы и горизонты иные.

Через месяц директор сказал мне:

– Ну, дело о подъездных прошло... Вчера министр решил и ваш вопрос. Бог с вами и вашими гарантиями. Вопрос ставится так: ваша ветка представляется в Государственный со-



вет, как первый опыт дешевого подъездного пути. Довольны?

– Это громадное счастье.

– Не промахнитесь только! Постановка вопроса очень серьезная и ответственная.

– Но даром все-таки совсем мы не дадим губернии эту дорогу, – говорил я, – они должны дать даром землю, камень, песок, дешевый лес.

– Ой, какой вы еще юный, несмотря на свою седину... – Директор весело расхохотался. – Ничего они не дадут даром и за все втридорога сдерут...

– Но у меня уже подписки взяты.

– Откажутся... Случая еще не было ни в одной постройке, чтобы такие обещания исполнялись; Ни одного. Разве этим всем, которые там во фраках сидят и ждут очереди, что-нибудь свойственно другое, как схватить только, а там... – Директор презрительно махнул рукой и добродушно бросил: – Только костюм европейца, а под ним ведь дикарь, кулак самой первичной стадии накопления, если уж хотите говорить вашими там терминами... Хоть порите их, но бросьте казенную копейку. Этим и исчерпывается вся глубина, вся мудрость, вся подоплека: дал – друг, не дал – будет гадить, интриговать... Жадность, эгоизм, они, конечно, были, есть и будут, но никакого понимания своих интересов в связи с общими. Лозунг один: «я», «мне», еще мне, еще мне, а потом всеу раз мне... и все схватано и ничего для остальных, и

всем – и «я» и «мне» идти на дно...

Еще прошел месяц, и я уже в роли казенного начальника работ проводил расценку своей дороги во второстепенных иерархиях нашего министерства.

Составлялась так называемая исполнительная расценочная ведомость, которая вторично шла на утверждение в Государственный совет, и затем уже предстояла постройка по этой утвержденной исполнительной смете.

Я не верил этой головокружительной быстроте, с какой прошло мое дело.

– Кого мне благодарить? – спрашивал я Казова.

– Никого... Чудный случай... Если еще какая-нибудь хорошая идея придет в голову, – привозите опять.

## XXV

Так удачно прошедшее в высших инстанциях дело нашей подъездной железной дороги встретило целый ряд препятствий и задержек во второстепенных инстанциях, в тех заседаниях, которые были посвящены рассмотрению моего исполнительного проекта. Время шло, а между тем срок постройки уже был предрешен: к февралю, то есть ровно через год, постройка дороги должна была быть окончена. В моем распоряжении оставался таким образом всего один строительный период – предстоящее лето.

Но март уже был на дворе, когда мне было предложено для всестороннего выяснения вопроса составить три проекта: ширококолейный, узкоколейный метровой и с колеей в шестьдесят сотых метра.

Все эти три проекта и должны были поступить в Государственный совет, от которого уже и зависел выбор того или другого типа. Решенное уже раз дело таким образом под иным соусом преподносилось для вторичного перерешения.

С лихорадочной поспешностью были составлены и представлены мною три проекта: ширококолейный – двадцать восемь тысяч рублей верста, метровой с одиннадцатифунтовым рельсом в восемнадцать тысяч и колея в шестьдесят сотых метра, за которую я стоял, с восьмифунтовым рельсом в четырнадцать тысяч рублей верста.

При рассмотрении этих расценок был поднят вопрос, следует ли включать в расценку широкой колеи подвижной состав. Этим вопрос сводился к уменьшению стоимости ширококолейной версты на шесть тысяч рублей.

Большинство членов совещания высказалось в том смысле, что не следует включать в расценку подвижной состав на том основании, что паровозы и вагоны главной линии могли бы работать и на проектируемой ветке.

– Но, – возражал я, – нам нужно двести тысяч таких веток, а протяжение главных линий всего сорок – пятьдесят тысяч, – их подвижного состава и для теперешних потребностей не хватает...

Мой сосед пренебрежительно, добродушно возразил мне: – Оставим двести тысяч верст. Пока мы ведь собираемся строить только вашу веточку, протяжением всего сто верст. В сравнении с сорока-пятьюдесятью тысячами – это...

Он сделал в воздухе жест, все рассмеялись, и подвижной состав был вычеркнут. Стоимость широкой колеи этим низводилась к двадцати двум тысячам за версту.

Был объявлен перерыв.

– Ну, что ж, – усмехнулся кто-то, вставая и обращаясь ко мне, – разница уж не такая большая выходит между широкой и узкой колеей, а удобства широкой колеи...

Мой товарищ по выпуску, докладчик по моему делу, особенно энергично оспаривавший меня, сказал:

– Да бросьте же вы к черту эту узкую колею: выстройте

себе широкую, мы ведь не против, дадим ее вам, – самому же по крайней мере не стыдно будет ездить потом.

Члены совещания слушали и смеялись. Я не оставался в долгу.

– В этом-то и несчастье, – отвечал я, – что слово «стыдно» командует над экономической жизнью страны.

– Ну, поехал...

Когда раздался звонок председателя и мы опять расселись в громадной комнате вокруг стола, занимавшего почти всю комнату, докладчик, мой товарищ, возобновил свои нападки.

– Я не вижу также оснований, – говорил он, – при широкой колее класть двадцатидвухфунтовый рельс: восемнадцатифунтовый...

– Но тогда, – дружелюбно заметил ему один из членов заседания, – подвижной состав наших главных линий не будет же годиться.

– Тогда положим старые рельсы, – поправился докладчик.

Положить старые рельсы, – значило выдать их из запаса без цены, и следовательно и цена рельс вычеркивалась из расценки. При таких условиях широкая колея грозила выйти даже дешевле узкой.

– Но у вас в запасе нет этих старых рельс, – в отчаянии возражал я.

– Для ста верст найдется.

– Но ведь это не принципиальное решение вопроса.

– Мы здесь и не уполномочены на это, и вас никто не уполномочивал; мы решаем частный простой вопрос, как экономичнее выстроить вашу веточку в сто верст.

Я думал: «Решаем частный простой вопрос, как проще провалить вашу веточку».

И с каким злорадством подчеркивалось ничтожество этой веточки в сто верст.

Счастливая мысль пришла мне в голову.

– В таком случае, – сказал я, – если у вас действительно есть в запасе старые рельсы, так давайте их и для узкоколейного типа, – мы будем иметь возможность тогда пускать пятидесятивосьмитонные паровозы с подъемной силой в тридцать вагонов, а во всех трех расценках стоимость рельс вычеркнется.

Все рассмеялись.

– Хитрый, – усмехнулся и мой оппонент, и вопрос о старых рельсах был оставлен.

– Хорошо, старые рельсы мы оставим, – продолжал он, – но почему же на метровый одиннадцатифунтовый рельс, а на шестьдесят сотых метра – восьмифунтовый?

– Одиннадцатифунтовый, – отвечал я, – выдержит сорокатонный паровоз и поезд из двадцати вагонов, а восьмифунтовый только двадцатитонный и десять вагонов. В последнем случае, конечно, лишний эксплуатационный расход, но он навёрстывается в колее в шестьдесят сотых метра и меньшим строительным капиталом.

– Туманно...

И совещание постановило в обе узкие колеи ввести восьмифунтовый рельс. Я не настаивал, потому что в первоначальном проекте прошла колея в шестьдесят сотых.

– Если метровая пройдет, – возразил я своему товарищу, – после заседания я буду протестовать.

– На здоровье.

При наших схватках с товарищем старшие члены совещания держались в стороне, сочувствуя в общем моему товарищу.

У некоторых из них было заметно раздражение против меня, может быть, как против человека, желающего сказать какое-то новое слово им, умудренным опытом и знанием. Может быть, видели во мне выскочку, который желает выехать на модном, хотя и своем собственном коньке – удешевлении. Большинство, впрочем, лично были даже расположены ко мне, но просто считали меня человеком, увлекающимся ложной идеей.

Один инженер, идеально честный, прекрасный администратор и практик, которому в жизни, горячась, я сделал много зла и несправедливости, вовремя одного из перерывов резко сказал мне:

– Таким, как вы, волчий паспорт надо выдавать: всеми этими удешевлениями вы губите строительное дело.

– Это тем, что я мост-то без облицовки буду строить, – отвечал я ему, – тот мост в степи, который увидят только

волки и зайцы? Что тип станции-дворца я подведу ближе к типу прежней почтовой в интересах, чтобы у всех такая же станция была? Ну и выдавайте мне волчий паспорт...

Горячие схватки начались, когда пошло обсуждение типов и цен.

Положение вещей было совершенно обратное обычному рассмотрению расценок.

Обыкновенно начальник работ в предвиденье всяких случайностей постройки выторговывал возможно высшие цены. Здесь же наоборот: со мной торговались, находя выставленные мною цены низкими, прямо невозможными к выполнению.

Самые благоразумные, самые расположенные говорили мне:

– Но вы сами себя подводите: назначьте выше цену, дайте экономию, и слава вам.

– Слава мне, а я хочу принципиальной поправки. При ваших условиях всякая экономия всегда может быть объяснена, как случайное явление, а я говорю об экономии обязательной: упрощением типа, вплоть до крестьянской избы, употреблением местного материала в дело: липы, осины – материала, который строительным уставом нашим по рутине не признается...

– Потому что он действительно никуда не годится, – фыркнул инженер-практик.

– Но мой дом в деревне из осины стоит шестьдесят лет.



– Оштукатуренный?

– А кто мешает и здесь оштукатурить или обшить тесом, чтобы предохранить от соприкосновения с наружным воздухом?

Меня поддерживали только представитель финансов и контроля.

– Да бог с ним, – говорил представитель финансов, – хочет сам на себя петлю надевать, пусть надевает, а может быть и выгорит, а вы в протоколах оговорите, что цены начальника работ признаете низкими до невозможности.

Так и сделали в конце концов.

– Петля надета, – говорил мне после последнего заседания мой товарищ, выходя в двенадцатом часу ночи со мной на подъезд, – и за ноги даже вас не надо тянуть, – силой закона тяжести затынетесь сами...

– Затянусь я, а вопрос поднят.

– Ничего не поднят. Ведь вы поймите: хоть одна копейка перерасхода, и дело все равно дойдет опять до Государственного совета, и тогда провал ваш обеспечен: копейка, миллион, – важен ведь факт перерасхода...

Раздражение его против меня улеглось, он говорил приятельским тоном, вперед сочувствуя моей неудаче.

– Вы только дело не тяните, лето на дворе, – отвечал я.

Он развел руками.

– Вы не один, и то сколько времени мы с вами потеряли...

Кроме вашей ветки, сорок тысяч эксплуатационных верст да

все постройки, – и там и сям все вопросы перерешаешь до последней шпалы, а ведь вы же знаете нашу организацию...

– Я знаю, что на вас вертится все дело, но, говоря серьезно, не можете же вы один решать за всех в России, решить все, до последней шпалы. И почему все могут ошибаться, а вы, почти не бывавший на полевых работах, всю жизнь работая в кабинете, – почему вы непогрешимый?

– Я вовсе и не претендую на непогрешимость, но факт налицо.

– Налицо и тот факт, что при такой централизации, недоверии к силам других ответственного за дело нет.

– Вы знаете, сколько я сплю? Не больше четырех часов. До одиннадцати вечера вот тут протолчешься, да дома часов до трех, чтобы подготовить на завтра. И сон тяжелый, кошмарный, со всей копотью и дымом этих заседаний... Нервы, конечно, не выдерживают... раздражение...

– Ну, зато вы и на очереди к карьере, к почестям.

– На очереди? Я измочален: десять лет едут на мне! Я лопну с почестей ваших...

Сутуловатый, водянистый, он еще ниже пригнулся и, кашлянув, сплюнул. Какая-то сложная музыка заиграла у него там, в груди, он устало сказал:

– У меня ведь астма...

И, прибавив: «ну, прощайте», зашагал в темноте улицы по мокрым от дождя плитам тротуара.

В начале апреля все три расценки пошли, наконец, в Госу-

дарственный совет. Пошли со всеми оговорками и протоколами совещания. Но над всем этим доминировало коротенькое замечание министра, в котором и признавалась, с одной стороны, возможность перерасхода, но, с другой – в интересах опыта удешевления, он полагал бы оставить цены начальника работ без изменения.

– Скажите, – спросил я своего товарища, – сколько еще времени все это протянется?

– Не меньше месяца, а то и два.

– Значит, половина строительного периода пройдет, – я не успею ведь...

– На будущий год успеете.

– Но штат рассчитан до первого февраля всего.

– Новый испросим.

– Тогда ведь будет перерасход.

– А вы всё еще до сих пор всё думаете, что у вас не будет перерасхода? Слушали бы умных людей, лучше было бы.

– Не будет, потому что я уже начал работы.

– Как начали?

– Так начал за свой счет и страх.

– А если не утвердят? Вы о двух головах?

– Да как же иначе? Вы же, например, сами меня обязали из дубового леса строить мосты. Дуб не рыночный товар, – его еще надо срубить в лесу и пока он листвой не оделся, – дуб, рубленный в листве, вы же сами забракуете.

– Обязательно.

В начале мая мой товарищ сказал мне:

– Ну поздравляю: дорога утверждена, метровая колея.

Я уже знаю это, знал, что в Государственном совете мое дело докладывал товарищ министра и высказался в том смысле, что находит возможным довериться мне в моей попытке. Мне это рассказал тот самый инженер, который проектировал выдать мне волчий паспорт.

– Я враг ваш принципиальный, – кончил он, – но тем не менее как человек от всей души желаю вам успеха. Дело очень серьезное и ответственное. Здесь не должно быть места ни задору, ни увлечениям.

Присутствовавший при нашем разговоре товарищ мой инженер, – крупный подрядчик, – весело перебил говорившего:

– Да не желайте вы, пожалуйста, ему никаких успехов: чем скорее провалится, тем лучше; и без того цены испорчены так, что, кроме убытков, – ничего...

– Чьи убытки – казны или его, – он благоразумно, как настоящий уже подрядчик, не договаривает, – вскользь заметил мой собеседник и, обращаясь ко мне, кончил:

– При благоприятных обстоятельствах может быть и успех. Во всяком случае очень и очень ответственное дело.

## XXVI

Еще около месяца прошло. Все, собственно, уже кончилось, но какая-то скучная канцелярская волокита тянулась без конца. Я давно жил на даче. Каждый день из Царского я отправлялся в Петербург с надеждой выехать сегодня и возвращался все с тем же: «Завтра».

Каждый день был так похож на предыдущий, что все уже приобрело род привычки, налаженности.

К девятичасовому поезду я отправлялся на вокзал.

Яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых тенистых деревьев.

По укатанному шоссе Царского Села идут и едут: поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже дает повестку длинным протяжным свистком из Павловска.

На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица отдохнувшие, почти удовлетворенные, – нечто вроде хорошенько вычищенного, но поношенного уже платья.

Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военные фуражки.

Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар, – зашумел и зашипел, – а в вагоны торопливо входят один

за другим пассажиры. В числе их и я. Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем разворачивает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающую его обстановку. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты и надо прочесть ее всю, хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным большею частью мелким злобам дня.

На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочку: она, вероятно, курсистка или консерваторка, он – мало думающий о своем туалете студент, – у них обязательных дел нет, и они счастливы, или, вернее их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом, в жизни.

Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна первого класса.

Он туповато смотрит в окно мимо против него сидящей, в большой шляпе, не старой, но и не молодой уже дамы, – очевидно, его сожительницы.

Очевидно, потому, что интереса на лицах нет: равнодушные, апатия. Глядя на них, так и видишь возбуждающее их к жизни: приготовленный карточный стол, партию раз навсегда дозволенных, с обоюдного – во избежание глупых ссор – согласия, партнеров, легкую закуску в столовой; тогда им обоим не так скучно будет на свете, а временами, после удач-

ной игры, лишней рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все, вся и самого себя, даже и совсем хорошей покажется эта жизнь.

Во всей половине этого отделения для некурящих сидят люди хорошего тона, чопорные и скучные: их жизнь вылилась в недостижимую для многих и не интересную для всех, кроме их самих, скучную форму установленного этикета. В свое время незаметно, без следа и сожаления сойдут с подмостков жизни мишура времен вместе с своими этикетами.

До этих следов времени никакого дела нет в отделении первого класса для курящих.

Там жизнь данного мгновения и следы его: облака дыма, всегда бодрый, довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, маневрах и насвистывания мотивов последних шансонеток. В углу вагона остаток ночи: две вольных подружки в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может быть, и подкрашенные. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух штатских.

– Ох-хо-хо! – потягивался, заломив руки за голову, высокий, широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар.

– Что? – одобрительно спрашивает его более пожилой со товарищ.

– Спать хочется, – добродушно и смущенно признается белокурый гусар.

И все смеются, выдан какой-то секрет, сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам, и она смотрит в окно, стараясь не видеть и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании.

В Рогатке садится мой сослуживец – важное лицо в нашем министерстве.

– Как дела?

– Держат, – отвечаю я.

– Продержат еще с месяц, – уверенно, спокойно говорит важный.

– Но тогда, пропустив рабочую пору, – горячо отвечаю я, – что ж я сделаю?

Важный молчит и потом удовлетворенно, каким-то трескучим голосом говорит:

– Ничего, конечно, не сделаете.

– А лишний год администрацию содержать, лишних сто двадцать тысяч из казенного кармана?

Важный господин опять молчит и нехотя отвечает:

– Надо войти и в их положение: Россия – страна размеров необычайных.

– Это и надо бы принять во внимание: за всех не передумаешь...

Собеседник лениво бросил:

– Приходится, однако, думать. Петербург. Месяц еще про-



держат – и с этим помириться.

Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку, я за ним, беру извозчика и еду в министерство.

Большой знакомый желтый дом.

Ну, конечно, швейцар и поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый.

Стоят, смотрят в лицо: свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться. А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам. А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление того, что пришел все-таки как-никак к своим. В ожидании я слоняюсь по коридорам и думаю: ведь, в сущности, в общем люди добродушные и незлобливые, но такова уже сила вещей.

Двенадцатый час. Я стою перед низеньким, плотным, добродушным сгорбленным стариком, или не стариком – кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, помятое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные.

– Утвердили, – говорит он мне не то радостно, не то вопросительно.

Это приветствие я слышу уже в десятый раз.

– Если утвердили, так за чем же задержка?

– Да ни за чем.

– Ну так, значит, строить можно: давайте кредиты!

Иван Николаевич рассеянно говорит:

– Ишь, скорый какой!

– Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь, – ведь четыре месяца...

– Да что вы, господь с вами, какие четыре?

– Да, конечно, здесь в Петербурге я четыре месяца...

– Ну-у!

Иван Николаевич машет добродушно рукой и уже заговорил с другим. Я терпеливо жду.

– Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являться к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть.

– Сделайте одолжение, – сухо говорит Иван Николаевич.

– Иван Николаевич!

– Иван Николаевич я пятьдесят четыре года, а один за всех.

– Иван Николаевич, пожалейте же... ну, зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну, рассудите же, ведь надо меня отпускать, ну пройдет еще месяц, два, – наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Почему вам не вникнуть сейчас, когда еще не поздно, зачем томить, мотать душу.

– Ах, господи! Ну, что вы пристали, ей-богу?! Что я могу здесь сделать?

– Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?

Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит:

– Пойдем.

Иван Николаевич ведет меня через целый ряд комнат со множеством столов, где у каждого стола сидит чиновник с озабоченным лицом и что-то перекладывает.

– Ивановское дело! – раздается торопливый голос подбегавшего и скрывавшегося уже тоже озабоченного чиновника.

– О, господи! ему ивановское, тому петровское, черт его знает, за какое и братья! – Чиновник берется за ивановское, раскрывает, тупо огорченно смотрит-смотрит и вдруг, вспыхнув, быстро складывает ивановское и опять сосредоточивается на петровском.

– Почему мы не можем открыть им кредитов? – подходит к этому чиновнику Иван Николаевич.

– Каких кредитов? – спрашивает чиновник.

Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от петровского дела, хочется и ответить.

– Да вот, – говорит Иван Николаевич и, прерывая сам себя, вдруг уже другим, оживленным голосом спрашивает: – Николай Васильевич пришел?

Чиновник оставляет петровское дело и в тон отвечает:

– Пришел.

Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость.

Все четверо взасос слушают.

– Надо самому идти, – говорит Иван Николаевич и уже идет.

– Иван Николаевич, голубчик, – чуть не за фалды хватаю я его, – кончим уж мое-то дело.

Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на меня, точно впервые видит меня, и рассеянно говорит чиновнику:

– Послушайте, разберите вы вот с ними... – И Иван Николаевич скрывается в дверях.

– Да чего вы собственно хотите? – спрашивает меня чиновник.

Так как этому господину я еще никогда ничего не говорил, то и начинаю с Адама и дохожу до момента своего стояния перед ним.

Господин слушает, заглядывает в петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теревит себя за цепочку, закуривает папиросу и, наконец, потеряв, очевидно, всякую нить моего рассказа, говорит, когда я смолкаю:

– Да ведь это в канцелярию министра.

Я смотрю на него во все глаза.

И чиновник в свою очередь уже немного сконфуженно смотрит мне тоже прямо в глаза:

– Вам чего, собственно, надо?

Я в полном отчаянии – начинать опять с начала? Входит неожиданно Иван Николаевич, берет меня под руку и говорит:

– Он вам ничего не поможет. Вся задержка оттого, что

смета к нам не препровождена еще.

– Как не препровождена? Да неделю, как уже препровождена!

– Не может быть!

Идем в регистратуру, Иван Николаевич прав.

Я лечу в третий этаж к своему товарищу по выпуску.

– Послушайте, батюшка, – говорю я, – оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили.

– Как не препроводил? – препроводил.

– Да нет же!

– Что вы мне рассказываете!

Идем в регистратуру. Действительно, не препроводил.

– Куда же я препроводил?

Товарищ берет журнал и внимательно роется сам. Эврика! Он препроводил, но не смету.

– Куда же я смету девал? Я помню, я ее отправил... Черт его знает! Нет сил! – Он бежит к себе, опять роется на своем столе – сметы нет.

– Председатель просит! – заглядывает озабоченно курьер.

Товарищ бросает меня и идет в кабинет председателя...

– Дело Шельдера у кого? – выходит он озабоченный через несколько минут из кабинета председателя.

– Шельдера, Шельдер?!

Дела Шельдера ни у кого нет.

– Оно у Шпажинского, – говорит чей-то голос. Шпажинский сегодня не пришел.

– Зарез полный, – по делу Шельдера требует справки председатель, Шпажинский не пришел, – какая это служба?! Ей-богу, точно гостиница, – несется ворчанье из кабинета моего товарища.

– А удачное сравнение, – затягивается и весело подмигивает мне молодой с вызывающими и смеющимися глазами чиновник-инженер.

Он смолкает, потому что входит мой товарищ и роется в столе Шпажинского. Как на грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес.

– Тьфу! – облегчает себя товарищ, – ну, уж это, прямо можно сказать свинство со стороны Шпажинского: перешел себе на частную службу и даже не сдает дела.

Товарищ уходит в кабинет председателя, а молодой чиновник растолковывает мне:

– Шпажинский уже три месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат: ну что ж, потерять место в восемь тысяч?

Я пожимаю в ответ плечами и без мысли выхожу в коридор, а оттуда к двери председательского кабинета, чтобы не пропустить товарища, который там теперь у председателя.

Тут же у дверей в ожидании очереди слоняется с папкой и Иван Николаевич.

– Ну, что? – спрашивает он меня.

– Нет сметы, – развожу я руками.

– И в претензии, батюшка, нельзя быть, – добродушно го-

ворит Иван Николаевич.

Оба мы отходим к большому окну, оба облакачиваемся и смотрим из окна в сад, а Иван Николаевич благодушно говорит:

– Ну вот вы сами считайте: теперь что? Май? Исходящий номер уже десять тысяч сто двадцать первый, да столько же входящих. Пять минут только поддержать каждое дело в руках, пять минут, – много ли? А ну-ка посчитайте.

Иван Николаевич, заинтересовавшись задачей и смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет:

– Десять тысяч, двадцать тысяч... по пяти минут – сто тысяч разделить на шестьдесят, по нулю отбросить, десять тысяч на шесть... Это что же будет? тысяча шестьсот часов... Ну хотя от одиннадцати до шести, значит, семь часов, – на семь... два... двадцать, ну хоть три, двести тридцать дней. Январь, февраль, март, апрель, на круг двадцать пять дней... сегодня двенадцатое, – вдвое выходит!.. Так ведь пять минут всего... А с вами одним сколько? Что ж тут сделать можно??

– Да ведь ничего же вы и не делаете, стоит все, – огорченно отвечаю я.

– Ну, не очень-то стоит: десять тысяч все-таки исходящих, да входящих... За день-то голова в пивной котел и вырастет.

– Да кто говорит! Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают! Понимаете ли – лучшее время уходит... я уже и письма перестал получать из дому: я каждый день, вот уж месяц телеграфирую домой, что завтра вы-

езжаю... Не знаю даже, что и делается там теперь...

Очередь Ивана Николаевича к председателю, потому что товарищ мой вышел.

Товарищ бежит и на ходу решительно кричит мне:

– Батюшка, завтра, – сегодня секунды свободной нет!

– Но завтра будет?

– Будет, будет, – доносится успокоительный голос товарища уже с верхней лестницы.

Я провожаю его глазами, – какая-то надежда, что завтра выпустят, и тоска в то же время. Что теперь делать? Два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму домой.



## XXVII

В июне, наконец, меня выпустили, и я уехал на родину, к месту работ. Моих средств хватило на организацию только земляных работ и на заготовку леса. Все остальные работы – мосты, гражданские сооружения и прочее – стояли без движения.

Время для дешевой организации, системой мелких рядчиков – было пропущено.

К этой системе прибегает всегда крупный подрядчик и зарабатывает этим тридцать – сорок процентов. Отстраняя крупного подрядчика, имея дело непосредственно с мелким рядчиком, казна кладет в свой карман эти тридцать – сорок процентов. Но здесь есть и риск: рядчикам надо давать авансы. Из десяти рядчиков – один сбежит. Остальные девять с лихвой оплатят, конечно, потерю – это хорошо знает опытный подрядчик, но казна убытков не признает, – за девять рядчиков она выгоду получила, а за десятого взыщет со строителя. Вот почему этот способ мало практикуется казенными строителями, и предпочитается. ему или крупный подрядчик, или же способ хозяйственных работ. В последнем уже сама казна работает все: нанимает поденных, покупает инвентарь, кормит лошадей. Здесь чиновник-инженер сразу превращается в сельского хозяина.

Увы! много ли среди самых заправских сельских хозяев

хороших хозяев, умеющих сводить концы с концами? И ко всему ведь это хозяева своих собственных денег, этими своими деньгами они ответят за всякий свой промах, недосмотр, ошибку.

Совершенно не то положение хозяина-чиновника, хозяина за чужой счет, ставшего хозяином в силу предписания за таким-то номером.

Из двадцати выберется один настоящий хозяин, но, научившись на казенный счет, и он уйдет из казны и станет сам хозяином, – крупным подрядчиком, где труд его вознаграждается сторицею.

Отрицательными сторонами хозяйственных работ является не только неопытность, неумелость или равнодушие чиновника-инженера, но часто и недобросовестность. Все эти табеля поденных – великий соблазн для всякого рода табельщиков, десятников, а иногда и для лиц, занимающих и выше места.

А между тем необходимость заставляла меня во всех неначатых работах прибегнуть как раз к этому единственному оставшемуся в моем распоряжении способу. Что до крупных подрядчиков, то при назначенных мною низких ценах на них во всяком случае и рассчитывать было нечего, а мелкие рядчики, за поздним временем, уже пристроились, кто где мог, на других работах.

Удалось еще подыскать рядчика только для каменных работ. Эти две работы – земляная и каменные мосты – и вышли

действительно дешевыми у меня. Все остальное, сделанное руками поденных, под хозяйственным наблюдением случайно попавшегося штата, – за поздним временем и незначительным сроком постройки вышло гораздо дороже того, что могло бы стоить. Но опять-таки не дороже того, что стоил бы штат, если б постройку затянуть на год.

Чтобы по возможности смягчить зло, я постарался создать на своей постройке широкую гласность, а с ней и то общественное мнение, которое лучше, чем кабинетная тайна, гарантирует целостность казенного кармана.

Прежде всего я ограничил всех и самого себя относительно денег. Всякое расходование денег производилось с общего ведома всего персонала.

Происходило это в наших собраниях – местных на участках и общих в центральном управлении. Членами этих собраний были как техники, так и весь интеллигентный штат служащих дороги. В этот штат входил и многочисленный контингент студентов всевозможных специальностей. Здесь были и юристы, и филологи, и доктора, и техники. Работа их всех, главным образом, сводилась к контролированию десятников, табельщиков, а отчасти и техников.

Мне делали упрек, и я охотно его признаю, что организация студенческих работ была далеко не совершенна. Они, может быть, были недостаточно впряжены в дело постройки, стояли где-то сбоку, в роли каких-то контролеров, вследствие чего при отсутствии такта могло получаться впечатле-

ние, что юноша, ничего не знающий, являлся как бы контролирующим действия даже высших агентов дороги.

Было бы, конечно, правильнее превратить всех этих студентов самих в табельщиков, денежных артельщиков, но несомненен тот факт, что это элемент полезный, освежающий, смягчающий нравы, создающий те действительные контрольные фонари, при которых свет и гласность являются действительно обеспеченными.

Не сомневаюсь, что те пятнадцать тысяч рублей, которые истрачены были на приглашенных студентов, что на всю строительную сумму полтора миллиона составляет всего один процент, сохранили не одну сотню тысяч.

Из числа раскрытых таким контролем злоупотреблений один случай был очень характерный, так как касался одного из высших агентов дороги.

Был уже собран Геннадьичем целый ряд косвенных улик против него, а я, несмотря на настояния молодежи, все еще медлил и не решался, когда вдруг злоупотребление уже заподозренного лица стало вне сомнения.

В тот же день я получил от своих сослуживцев адрес за шестьдесятю подписями, то есть за подписями почти всего наличного персонала, с ультиматумом или удалить от службы виновного, или же все они остальные оставляют службу. Во главе движения стоял Геннадьич, с вызывающим видом с двумя другими подавший мне этот адрес.

– Я не хотел, чтобы мои действия носили характер произ-

вола, – отвечал я, – у нас существуют наши собрания, – может быть, обвиняемый согласится явиться в это собрание и дать свои объяснения.

– Мы должны посоветоваться, – сухо ответил мне Геннадьич и удалился вместе с своими товарищами.

К вечеру я получил от них уведомление, что подписавшие адрес согласны на мое предложение, и я письменно обратился к обвиняемому. Ввиду и им выраженного согласия через несколько дней вечером было назначено общее собрание.

Для удобства всех собрание было назначено посреди линии в одном необитаемом многоэтажном помещичьем доме с согласия, конечно, управляющего владельца имения.

Как заговорщики, уже в сумерках после работы съезжались к условленному месту со всех сторон агенты дороги: и в экипажах, и в поезде, и верхами. В наше распоряжение был отдан нижний этаж с низкой, но громадной, род залы, комнатой. Несколько ламп плохо боролись с мраком комнаты, тускло освещая громадный стол и ряды стульев. Входили, здоровались и молча садились. Что-то мрачное, тяжелое, без конца неприятное.

Казалось, и самые горячие агитаторы теперь точно сожалели о затеянном.

По крайней мере Геннадьич забился в самый дальний угол и не подавал звука. Ближе к столу места заняли более старшие, более опытные, хотя, в общем, была довольно смешанная картина лиц: безусых, пожилых уже, и голов – русых,

черных, седых и лысых, без всяких волос.

Чувствовалась и необычность этого собрания, но чувствовалась в то же время его законность и сознание этой законности: сознание ответственности перед совестью своей, перед совестью общественной, – и самые молодые лица делались серьезными, сдержанными, полными достоинства, предстоящих мгновений. Обвиняемый приехал почти последним и, войдя в зал с развязным видом, производившим тяжелое впечатление, как бы ничего не случилось, стал здороваться со всеми.

Когда здорованье кончилось, начались выборы председателя.

Выбрали моего заместителя.

Обвиняемый, бледный, с отеком лица, уже пожилой господин, с академическим значком, все время пренебрежительно улыбающийся, встал и, стараясь говорить свысока, тоном человека, к которому относятся пристрастно, но которому это совершенно безразлично, который иного отношения и не ждет себе, сказал:

– Я не признаю законности этого собрания. Я никогда не сочувствовал и не признавал таких собраний, всю эту постановку вопроса, где безбородый юноша, которому надо учиться и учиться, является сам вдруг в роли чуть не опекуна, контролера, судьи, – я не могу признать ее и не сомневаюсь, что и никто из деловых людей ее не признает. У нас есть своя корпорация, которая одна компетентна и перед которой на-

чальник работ ответит в свое время за глумление над тем мундиром, который мы оба имеем честь носить...

Он сел, а я попросил у председателя слова.

– Ни в каком случае, – сказал я, – собрание это не является для вас обязательным. Если вы не желаете, то никакого суждения и не будет о ваших действиях. Но не можете же вы отрицать, что все, здесь находящиеся, являются товарищами вашими по общему для всех нас делу. Отсюда вытекают их и права и обязанности. Первое их право – любить и уважать их дело, честь этого дела. И, как люди корпорации, мы ни в каком случае, казалось бы, не должны претендовать на исключительное наше право охранять честь знамени этого дела. И, с другой стороны, ни в каком случае корпорация не может заменить собой общественного мнения. Здесь перед вами общественное мнение: угодно вам перед ним дать отчет в ваших действиях, – оно внимательно выслушает и обсудит, потому что не хочет погрешить перед вами, перед своею совестью.

– Эту постановку – местное общественное мнение – только я и признаю, потому и явился.

И обвиняемый, раздраженно кивнув мне головой, отвернулся.

Мне его так жаль было, что я готов был прекратить все, сам готов бы сесть вместо него, но рамки созданного мною же дела ставили мне непреодолимые барьеры: на всех одинаково накладывалась какая-то узда суровой необходимости

чувствовать себя только одной шестидесятой частью целого.

Два битых часа шел разбор прискорбных обстоятельств, ни на мгновение не оставляя сомнений в преступной виновности.

На голосование был поставлен вопрос в такой редакции: «Достаточно ли выяснилось, что дальнейшее совместное служение собрания с таким-то не представляется возможным?»

Ответ получился единогласный: да, выяснилось.

При гробовом молчании обвиняемый встал.

– Ну, что ж? Уйду... Прощайте.

Он, бодрясь, протянул руку первому стоявшему возле него молоденькому, застенчивому, как девушка, студенту-технику. Тот покраснел до корня волос, пряча руки за спиной, чуть не плача, сказал:

– Извините... так попросаемся...

Это имело действие вихря, который унес из комнаты виновника этого собрания.

Мы разошлись молчаливые, подавленные, но с ясным сознанием, что то, что сделано, было необходимо сделать.

Нельзя не упомянуть и о большом воспитательном значении студенческого элемента.

На постройке нравы в общем грубы. Субординация и чинопочитание в открытых, напоминающих военный строй, формах – явление заурядное.

Был такой случай: один техник дал волю рукам. И я сейчас



же получил адрес и ультиматум. Опять суд и уход виновного с линии, так как обвиненный не хотел признать себя виновным, полагая содеянное некоторым образом даже в заслугу себе.

Чтобы совсем раздражить рутинеров дела, сообщу, что и я лично был привлечен однажды к ответственности перед общим собранием за увольнение десятника без достаточно внимательного разбора дела. В результате десятник был принят обратно на службу, а мне был объявлен собранием выговор, что и хранится в протоколах собрания.

Если будут мои противники говорить о деморализации дела при таких условиях, то я успокою их: лучшей нравственной дисциплины, людей, покорных одному хозяину – делу, я не встречал ни на одной постройке. А перебивал я на них и видел их достаточно на своем веку.

## XXVIII

В деле постройки далеко не все шло так гладко, как бы хотелось.

Пословица: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» – применима везде, а в железнодорожном строительстве, где громадное дело создается с головокружительной быстротой – особенно.

Были вины наши, – вольные и невольные, – были и не наши.

Дуб наших мест оказался плохим строительным материалом, и при рубке на одно годное бревно приходилось несколько ситовых, дуплистых, и в результате большую часть леса пришлось употребить на дрова.

Поденщина хозяйственных работ тоже пожирала массу денег. И, как всякая поденщина, вгоняла работу.

Были вины и не наши.

Большую часть строевого материала приходилось возить из города, за сто с лишком верст от места работ. Местная дорога, во главе которой стоял болезненный, скоро потом сошедший со сцены техник, мой принципиальный враг, отказалась перевозить груз нашей дороги, как казенный. Этим удорожалась как стоимость перевозки, так и терялась срочность доставки.

Несмотря на то, что дорога наша была такой же казенной,

несмотря на то, что сама дорога строила такую же ветку и подвозила к ней грузы, как к казенной линии – нас поставили в очередь со всеми остальными частными грузоотправителями.

Без срочной доставки артели плотников, каменщиков, мастеровых всякого рода сидели неделями без дела, и приходилось этих дорогих мастеров гонять на простую чернорабочую поденщину, платя вдвое. Я, конечно, протестовал в центральное управление, – оно ответило в утвердительном для меня смысле, но в ноябре уже, когда все перевозки были уже кончены. Рискуя иначе не кончить в срок, мы вынуждены были возить на лошадях, переплатив за это до пятидесяти тысяч рублей.

Осложнялось дело постройки и государственным контролем. Ограниченный буквой закона, с одной стороны, с другой – верой в здравый смысл своего «я» – чиновник-контролер, не специалист к тому же, создавал нам на каждом шагу целый ряд препятствий, которых сам и не сознавал даже.

Приведу один только пример. Порядок расходования казенных денег следующий: строительная контора получала авансом двадцать тысяч рублей, и пока не отчитывалась в этих деньгах, новых авансов контроль не разрешал. При крупных подрядчиках и даже рядчиках этого аванса было бы достаточно, так как оплата по работам тогда происходила бы помимо авансов, но при хозяйственных работах всего до пятисот тысяч рублей, при условии израсходовать их в че-

тыре месяца, аванс должен был двадцать пять раз обернуться. Другими словами, раз в неделю надо было представлять отчет. Пришлось вследствие этого, чтобы успевать, строительную контору поместить прежде всего не на линии, а в городе, за сто двадцать верст от места, где помещался контроль. Чтобы успеть даже и при этом в неделю повернуться с такой сложной манипуляцией, как отчет, пришлось держать как отдельных курьеров, срочно возивших отчетные документы с линии, так и двойной штат конторщиков на линии, а в центральном управлении создать целый департамент бухгалтеров, которые еле-еле успевали к назначенному дню представлять отчет, всегда с надписью: «Срочно». А тут еще какой-нибудь документ, составленный не по форме или неправильно списанный, и сразу вся машина останавливалась: аванс не пополнялся контролем, платить было нечем, на линии бунт, и единственное средство спастись – это прибегнуть к двадцатому параграфу, по которому начальник работ за своей ответственностью может парализовать запрещение контроля. Но это уже война с контролем. Передав дела в Петербург, в центральные управления – начет в будущем и затяжка лет на десять. И хорошо еще, если все окончится манифестом.

Ясно, что при таких условиях линия, постройка ее, является делом второстепенным. Главное же и существеннейшее – возня с учреждением, которое сразу может испортить все дело. Возня с учреждением, при этом же специальным,

следовательно неграмотным в нашем деле, члены которого руководствуются не объективным, не незыблемым, а своим субъективным, ничего, в сущности, не стоящим. В результате – сплетни, возня с неграмотными дядьками и полный застой во всем, тормоз, который вечно не кстати, на гору, прикручен, потому что тормозящий, вертящий ручку тормоза, и при желании и даже по незнанию будет вертеть не в ту сторону.

Чтоб как-нибудь справиться, я должен был прибегнуть к частному займу в пятьдесят тысяч рублей, оплачивая проценты из своих собственных средств.

Контроль это знал и тем не менее на мою просьбу в центральное управление об увеличении авансов дал с своей стороны отрицательный отзыв. Под конец я добился-таки помимо контроля увеличения аванса; но надо было ехать в Петербург, хлопотать, а время ушло, и при таких условиях развернуть весь фронт работ удалось только к осени, когда и дни стали вдвое короче и погода испортилась, когда работы требовали и теплых барачков, и теплой пищи, и водки, и все-таки в дождь не работали.

Ничему не доверяя, чиновники контроля являлись на линию, проверяя путем того нивелира, которого никогда в руках не держали, работы, определяя качества материала, ничего не понимая в нем. Приходилось возиться, нянчиться, потому что ссора с контролером – вещь очень опасная для репутации, а с другой стороны, чувство деловитого и поряд-

дочного строителя не могло не возмущаться сознанием, что такого контролера при желании надуть, обмануть можно как угодно. Я не против идеи контроля, но одной идеи здесь мало, а в своем практическом осуществлении действующий контроль, говоря откровенно, в большинстве случаев на руку только тем, которые хотели бы на законном основании злоупотреблять. Законным же основанием при такой системе является аккуратно составленный документ, – с маркой, с крестами за неграмотных и проч. и проч., – все то, что можно сфабриковать, имея бумагу, перо и чернила.

Не этим путем я уберег казенный карман. Мне помогли: общественное мнение на линии, гласность, ограждение прав даже мелких сошек, потому что этим пробуждается достоинство, самосознание, любовь и уважение к делу – все то, что действительно желает дело. И повторяю: могут оспаривать некоторую мою непрактичность в постановке вопроса, но как идея она вне спора.

При этом пусть будет и контроль, но как неразрывное тесное со всем остальным живым делом постройки, такой же ответственный пред общественным мнением, такой же член общих собраний, где он всегда будет и в курсе дела и в то же время лучше и легче будет понимать то, чего теперь обособленный, замкнутый в тиши своего кабинета никогда не поймет не специалист чиновник-контролер. Не поймет и, убежденный в своей непогрешимости – свойство чиновника, – будет кроить и резать живое дело в святой уверенности, что он,

этот второй и неответственный хозяин, только и спасает это дело от ошибок и хищений. И в то время как крупный подрядчик, не интересуясь ни капли аккуратностью табелей поденных с крестами за неграмотных, обратит все свое внимание на то, во что обошлась работа, что стоила единица работ, контролер будет только усердно искать отступления от формы, – нет креста, неразборчива фамилия, неверен итог. Это последнее, впрочем, – проверка итогов, в сущности и есть единственная работа, приносящая действительную пользу.

## XXIX

Пришла зима. Дорога наша была закончена вчерне, но самого главного – подвижного состава – у нас не было. Заказ его зависел от центральных управлений, и мы, строители, здесь уже были бессильны подвинуть дело. К тому же и дело было новое, требовавшее новых типов подвижного состава, требовавшее новой работы, а так как работой все и без того в этих центральных управлениях завалены выше головы, то и получили мы вагоны только к следующей осени.

Я три раза просил принять от меня дорогу, хотя бы вчерне, с тем, чтобы достроить ее уже эксплуатацией, что, конечно, стоило бы дешевле строительного штата, но мне было отказано. Мотивировка отказа: дело новое – я его начал, я должен и довести его до конца.

А когда дело кончилось и началась приемка его от меня прилегающей к моей ветке казенной дорогой, то правление дороги категорически заявило, что не может признать тех облегченных условий, которыми руководствовалась наша строительная контора.

– Но ведь наши условия утверждены всеми инстанциями. Будки, например, сторожевые нам разрешено не строить, – просто надпись: «Берегись поезда».

– И наши условия, – отвечали мне, – тоже утверждены всеми инстанциями: будки мы должны строить.



Также не были признаны проектировавшиеся: телефонная система, поездные жезлы, централизация станционной отчетности, что не требовало обычного сложного и дорогого станционного штата. И вот нашу маленькую дорожку, дорожку-извозчика, облекли в широкий не по росту общепринятый эксплуатационный мундир широкой колеи, и едва видна она теперь из-за него, – уродец на восьмифунтовом рельсе. Сто двадцать тысяч понадобилось на это возвращение к старому, сто двадцать тысяч стоил лишний год постройки.

Я собирался оспаривать, думая, что и меня пригласят в центральное управление для обсуждения намеченных реформ эксплуатацией, но меня не пригласили, признали заочно перерасход и на дополнительные работы 240 тысяч рублей, представив в Государственный совет и на утверждение свое постановление.

Мой товарищ докладчик, пробегая по коридору с новыми уже делами, бросил мне пренебрежительно, пожимая плечами:

– Говорили же вам?..

– Провалили дело, – с упреком встретил меня маленький директор.

– Провалил себя, но не дело. Даже в своем уродливом теперешнем виде, перевоза свои четыре – пять миллионов пудов груза, дорога подняла уже их ценность на гривенник. Это одно уже составляет четыреста – пятьсот тысяч, и это уже

тридцать процентов на затраченный капитал. Уже теперь по двадцать пять верст всего, считая в сторону от дороги при стоверстной ее длине, получается район в пять тысяч квадратных верст, что составляет пятьсот тысяч десятин, в котором земли с тридцати – пятидесяти рублей за десятину возросли до шестидесяти – ста рублей, – это составляет увеличение первоначальной стоимости благодаря дороге в двадцать миллионов, и перерасход в двести тысяч – это один процент всего... Но и его не должно быть, и при иных условиях не перерасход, а сбережение было бы...

– Вы хотите, – перебил меня директор, – жаловаться, как с вами нехорошо поступили, но ведь, если я вам и поверю – буду я один, а для всех остальных факт провала налицо.

– Жалобы здесь, конечно, бесполезны, но, оставляя даже в стороне удорожания, вызванные исключительно недостойными действиями, останется много и других, легче устранимых. Так, отдельный строительный штат для такой маленькой линии слишком дорог, такие линии должны строиться средствами эксплуатации. Строители выбирают для этого удобный момент: недород, например, когда и работы дешевле, и являются они капитальным подспорьем для голодающих. Для этого, конечно, постройка дороги не должна быть чем-то быстрым, неожиданным, являющимся вдруг, как *deus ex machina*<sup>10</sup>, а систематизированным, заранее обдуманым

---

<sup>10</sup> Буквально: «бог из машины» (*лат.*). В античной трагедии внезапная, непредвиденная развязка иногда наступала благодаря вмешательству какого-ли-

общегосударственным планом, который, по мере благоприятных условий, и приводится в исполнение. Тогда бы не перерасход в двести сорок тысяч, а такая же экономия, и при том при рельсе в одиннадцать фунтов, получилась бы... и в следующий раз...

– Ждите! – фыркнул директор.

---

бо мифического бога, появлявшегося на сцене при помощи механического приспособления.

## XXX

Недовольны были мною в Петербурге, а на родине еще больше.

Жаловались крестьяне:

– Землю нашу под дорогу отбираете, теперь ни пройти, ни проехать с одного поля в другое; в деревнях от чужого народа, бродяг проклятых, дрянь всякая завелась: баб, девок перегадили, нехорошая хворь пошла, пьянство, драки, убийства. Что с того, что и много денег, да цены им не стало, – всё в кабак тащат. Опять и извозный промысел, – зимой только и кормились от него, а теперь коней хоть татарам на мясо продавай!

– Но железная дорога вам вечный кусок хлеба, теперь около нее постоянная работа. Если вы получите на ваш хлеб теперь на гривенник дороже, то на что вам извозный промысел? Без извоза этот гривенник уже у вас. Привыкнете и к деньгам, а заработная цена раз поднялась, так и останется.

– Кто там доживет еще, а теперь плохо, – стояли на своем крестьяне.

Не лучше относились и землевладельцы к дороге. Из землевладельцев только один Проскурин сдержал свое обещание и не взял за землю, остальные взяли, запрашивая вдвое, втрое против существующих цен. Так же дорого брали и за материалы: камень, песок, лес. Даже чеботаевская экономия

сорвала с нас за лес процентов на сорок дороже против существовавших норм и предыдущих продаж. Липа и осина из этих лесов приходилась почти в ту же цену, что и привезенная из города сосна. Напрасны были напоминания, что сперва проектировали мы строить дорогу чуть ли не на свой счет, а теперь, когда казна дарит ее нам, мы берем за все втридорога.

На упреки мне отвечали тоже упреками:

– Вы имели возможность устроить нам настоящую дорогу с широкой колеей, а из упрямства строите нам уroda какого-то. Вы имели возможность по крайней мере пройти линией так, чтобы захватить наши усадьбы, и прошли мимо, никого не удовлетворив, даже и себя, так как ваш же гудронный завод остался теперь в двадцати верстах от линии, а был бы на линии, как и Проскурин и Чеботаев.

Я объяснял, что, хотя усадьбы Проскурина и Чеботаева отошли верст на пять, но в сравнении с прежним положением, когда дороги не было, это совершенные пустяки, а между тем теперь, когда казна сама хозяйин дороги, я не в праве был пренебречь теми большими строительными выгодами, которые получились от сокращения длины линии вследствие этого почти на десять верст.

– А раз казна получает от этого выгоды, – пусть и платится, – отвечали мне. – То, что мы получаем с вас лишнего за землю и материал, капля в сравнении с переплатой теперешней рабочим нашим. Вы и цены удвоили и рабочих всех

отвлекли, весь хлеб гниет в поле, и пропадом пропади ваша железная дорога.

Бранили дорогу, бранили меня, злословили, клеветали.

## XXXI

Это волновало, расстраивало. Мой компаньон Юшков, с ударением на о, говорил энергично:

– Да, что вам? Что понимают они не то что в коммерческом деле-то, в своем?! Хорошая дорога и дай бог здоровья ей... и делайте себе свое дело, только вот Лихушин не взорвал бы вас, – очень уж он размашист... Ну, понимаю – новое дело, хорошее дело, но зачем же так сразу? Прыщ и тот почешется сперва, а потом выскочит, а вы ведь так сразу. Ну, а лопнет, неурожай – тогда что?

Прошло два года, и действительно опять неурожай посетил наши места.

Дорожка наша заработала в обратном направлении: уже не в город, а из города в деревню везли хлеб.

– Нынче гоже, – говорили крестьяне, – и хлеб и семена вовремя.

– Значит, и польза от дороги есть?

– Ну, так как же? Давно ли работает, а гляди, все села около нее городами становятся. Каждый день, каждый день в хороший год хлеб везут, круглый год базар. Купцы, народ приезжий – все доход, все в цену – и сено и солома, всё в деньги. Амбаров понастроили, – из амбара хлеб опять на станцию, опять извоз... Масленица, а не житье...

Опять приезжали из городов «милосердные сестрицы и

братья», как называли их крестьяне.

Энергичнее проявилась общественная самодеятельность. Образовался частный кружок, и громадные средства со всех концов России притекали к нему. Явились и деятели безукоризненные, сильные, умелые.

Деревни пестрели интеллигентным элементом, ласковым, любящим, отзывчивым.

– Хлеб с тобой слаще, барышня ты наша дорогая, – говорила какая-нибудь старуха, сидя за обеденным столом и наблюдая какую-нибудь милосердную сестру, озабоченно оглядывавшую, все ли едят, всем ли хватило.

Там и сям устраивались дома трудолюбия с мастерскими, ткацкими усовершенствованными станками.

Все это, конечно, были паллиативы, но жизненные, – они привились и существуют и теперь.

В Князевке Лихушин и Шура давно уже устроили столярную и ткацкую мастерские, образцовое пчеловодство.

Человек двадцать из молодого поколения князевцев уже были прекрасными столярами, учеными пчеловодами. Бабы ткали сарпинку и в зимний день выручали до сорока копеек.

А летом женская поденщина доходила и до восьмидесяти.

– Прежде двадцать копеек нигде не найдешь...

Молодые столяры и пчеловоды выписывали журналы, увлекались Горьким.

Князевцы вследствие громадного хозяйства на лето частью превращались в разного рода досмотрщиков по рабо-



там, частью ушли на железную дорогу, частью в город. Уходили, превращаясь там понемногу в мастеровой народ. Ходили в пиджаках, связи с деревней не прерывали, но и назад не хотели.

А другие, наоборот, упорно продолжали свое хозяйство, знать не хотели никаких новшеств, предпочитали свою работу какой бы то ни было поденщине и бедствовали: спокойные, стойкие, твердые в вере отцов. В голодный год чуть было не исполнилось вещее предсказание Юшкова, но зато в следующий за голодным годом был такой громадный урожай и притом дорогих культурных хлебов, что у меня, за вычетом всех расходов и убытков, очистилось свыше ста тысяч рублей.

Но полным торжеством Лихушина была сельскохозяйственная выставка, первая в нашем уезде.

Затянул ее один доброжелательный молодой дворянин. Дворяне землевладельцы отнеслись сочувственно к этой затее, и восьмого сентября выставка состоялась.

Я с Лихушиным тоже получили приглашение и решили принять его.

Мы выставили пятнадцать сортов семян, молочный скот, продукты нашей молочной фермы, продукты пчеловодства, столярного производства, образцы сарпинок.

Мой компаньон в особом павильоне выставил наше крупчатое производство. Он сам присутствовал и добросовестно объяснял посетителям сложную операцию превращения

пшеницы в конфектную муку и манную крупу.

Когда экспертиза была кончена, приступили к присуждению наград. Судьями были: председатель – чиновник от министерства земледелия, четыре местных дворянина землевладельца, один крестьянин, один купец, один священник и один немец-колонист.

– Первую награду за семенное отделение, – заявил председатель, – следовало бы, казалось, назначить по качеству и количеству выставленного Князевской экономии.

Дворяне запротестовали. Их положение было действительно затруднительное. Двадцать лет князевская экономия пользовалась репутацией очень незавидной: всякое неудачное нововведение уже напоминало Князевку и вызывало веселый смех.

Глава дворян – предводитель – говорил:

– Странный ты, действительно, человек. Ну, будь ты себе там, в железнодорожном мире, ну, там Скобелевым, ну в литературном там мире, но нельзя же везде... Мы век тут живем, только и занимаемся, можно сказать, тем, что терпеливым ухом слушаем травы произрастание, и вдруг человек вздумал учить нас уму-разуму: не так, а вот как... Смешно же!

Так говорил предводитель, так говорили и все.

И вдруг теперь, когда эти все сами затеявшие выставку, затеявшие, так сказать, прорубить первое окно, теперь, когда окно это прорублено, при свете дня увидели, что тому, чему

они так легкомысленно смеялись двадцать лет, приходится им же поклониться первым.

Может быть, не у одного мелькала поздняя мысль, что на свою голову вышла вся эта затея.

Как бы то ни было, но сопротивлялись горячо.

Приводились такие доводы:

– Князевская экономия не заслуживает первой награды, потому что это не доходное хозяйство, потому что владелец этой экономии человек другой специальности и в имении живет наездом.

Председатель возражал в том смысле, что вопрос как о доходности, так и о постоянном местожительстве владельца к делу награды отношения не имеет. Видя, что доводы его не убеждают дворян, председатель предложил высказаться не дворянам:

– Все они члены нашего сельскохозяйственного общества, и живут в том же уезде.

Первый заговорил крестьянин Филипп Платонович, с которым читатель уже знаком по земскому собранию.

– У нас, – печально заговорил он, – лицеприятства нет, но если говорить по правде, то кому же другому отдать первую награду? От кого мы двадцать лет учимся, как обихаживать землю? Кто завел нам новые семена ржи, овса, кто научил нас сеять подсолнух, чечевицу, люцерну, клевер? У кого первый скот, кто дает крестьянам больше доходу, кто высыпет в год сорок – пятьдесят тысяч рабочим? Куда, как в банк, идут

за деньгами? Да все в ту же Князевку. И нам думается, что тут одна голая правда будет, если присудим первую награду Князевской экономии.

Когда было предложено высказаться моему компаньону, купцу Юшкову, он сказал:

– Мне, как компаньону, будто неудобно говорить. Вижу я только, что как будто здесь что то вроде того, что недоразумение есть какое-то... Так на что проще обратиться к посторонним, – вот батюшка, хозяин из немцев.

– Так что ж, господа, – предложил председатель, – надо же как-нибудь решить, – отдадимся, что ли, на суд посторонних?

Дворяне молчанием изъявили свое согласие. Встал батюшка.

– Я никого здесь не знаю. Из пятнадцати сортов семян князевской экономии, – такой коллекции нет ни у кого, – многие к тому же высшие по качеству, многие обязанные своей культурой здесь – Князевке. И все это в громадных размерах и дает населению заработок сорок-пятьдесят тысяч... Если хозяйство ведется и в убыток, то тем больше чести... Я за то, чтобы первая награда была присуждена Князевской экономии...

Немец встал и коротко заявил:

– Я согласен с батюшкой.

– Ну, значит, так и поступим, – сказал председатель.

И, подписав постановление, передал его членам-дворя-

нам.

## XXXII

Успех увлек меня, и я задумал расширить дело.

Я снял пока в аренду, с тем, чтобы со временем и купить, одно большое имение на Волге.

Волга! Большая мимоезжая дорога! Каково же было мое удивление, когда, начав хозяйство в новом имении, я познакомился с местным населением и убедился, что князевцы в своем медвежьем углу являются людьми с университетским образованием в сравнении с этими наивными дикарями.

– А нашего истинного Христа изволили видеть? – чуть не с первых слов спрашивали меня крестьяне и вели в часовню.

Там, в часовне, в рост человеческий сидела деревянная кукла в женской юбке и рубахе, в какой-то безрукавке, с бумажной короной на голове.

От этой центральной фигуры по обе стороны в линию тянулись куклы поменьше, тоже в уродливых и фантастичных костюмах.

– Это что, – говорил потом батюшка, – прежде ведь все эти идолы в церкви у них стояли. Чуть не бунт был, когда перенесли их в часовню... Свечи жгут пред ними, перед ними молебен служат... Я донес архиерею, чтобы от соблазна приехать бы просто жандармам в рабочий день и увезти этих идиолов.

– Почему в рабочую пору?

– Когда все в поле, а то не дадут иначе, бунт устроят.

Склонность к идолопоклонству, очевидно, так велика еще, что многие из крестьян, входя в переднюю барского дома, крестятся на какую-то стоящую в углу в капюшоне деревянную фигуру. Из-под капюшона выглядывает смеющееся веселое лицо.

– Это братец, что ли, истинного Христа? – спрашивает, перекрестившись, один крестьянин.

– Да уж хороши... Вот почитайте...

И мне дали рукопись недавно умершего священника. Тридцать лет покойник вел свой дневник. В начале своей деятельности он тоже поражен был языческим видом села, верой в предрассудки, домовых, леших, русалок и прочее.

«Истинная религия исчезает за всеми этими безбожными суевериями», – писал с горечью покойный.

Я перелистал всю рукопись. Очень интересный документ, в котором из года в год записывались всё новые и новые предрассудки, о которых узнавал покойный.

Почти на последней странице этой рукописи покойный пишет еще об одном поверии.

Вот как было дело. У крестьянина вдруг ни с того ни с сего взбесилась лошадь. Покойный, автор дневника, был приглашен отслужить молебствие покровителям скота святым Флору и Лавру.

«Зная уже, в чем дело, – пишет автор дневника, – я, отслужив молебствие, стал искать у столбов приворот. Приво-

рот этот составляется так: желая насолить соседу именно в том смысле, чтобы лошадь у него вдруг взбесилась, нужно скатать в шарик немного сала и закатать в него отрезанный от хвоста намеченной лошади волос. Шарик этот незаметно вложить в дворовый столб. После некоторых поисков, я, действительно, и разыскал этот сальный шарик, показал его всем и бросил тут же в огонь. Само собой, что и бешенство лошади как рукой сняло».

Прочитав, я долго не мог прийти в себя. Опустив книгу, я смотрел в окно на даль Волги, на развернувшееся предо мною село, с его обитателями, произведшими на меня такое же, а может быть и еще более сильное впечатление, чем Князевка двадцать лет тому назад.

О многом думалось. И об этом покойном уже священнике, когда-то молодом, с энергией и свежестью принявшемся один в поле воевать, тридцать лет воевавшем, и вот результаты: «Само собой, что бешенство лошади как рукой сняло». Думал я о жителях этого села, о селе.

Грязное, из навоза, соломы и дерева село. Старые дома еще из хорошего леса, но все новые уже из тонкого или пластинника. Новые маленькие – шести-, семиаршинные. Очевидно, этот новый вытесняет тот старый. Истощенные поля окружают село, нагорный берег, покрытый когда-то лесом, а теперь вырубленный, торчит, как небритый подбородок какого-то покойника-гиганта. Только что я говорил с крестьянами. Все в один голос доказывали мне, что в крепостное



время им куда лучше жилось.

Я думал: но если бы дожил человек из времен Владимира, он, конечно, доказал бы, что тогда еще лучше жилось. Лес не был вырублен, постройки были лучше, поля не были так истощены, не было сифилиса, которым, по собранной уже статистике доктора, друга Геннадьича, восемьдесят процентов обитателей села заражены.

– Боже сохрани здесь молоко, масло покупать, – озабоченно теребя бородку, говорил доктор.

– А земский медицинский пункт далеко?

– В тридцати верстах. А что было здесь во время голода! Вот образчик хлеба я достал.

Конечно, меньше всего можно было назвать хлебом: мякина от соломы, посыпанная мукой и запеченная в печи. От времени этот суррогат потемнел и производил отвратительное впечатление навоза.

Я сидел у окна и думал: двадцать лет я в этих местах. Насажда там, в Князевке, культуру, иные начала жизни, я не мог отрицать достигнутых результатов. Считая себя знаменем времени, я думал, что и кругом жизнь идет вперед, и вот...

Мои мысли перебил веселый возбужденный голос:

– Вы здесь, что ли? В этом громадном доме, как дворец, заблудишься и никого не найдешь.

– Яков Львович?!

– Ну, я самый, – производил здесь следствие, узнал, что

вы здесь... Ну, с новосельем!

И Абрамсон трижды облобызался со мной.

– Ну, что, как? Нравится? Довольны? – спрашивал он, то садясь, то вскакивая.

– Вы ели?

– Если есть что-нибудь, я съем.

Я распорядился едой и стал делиться с ним своими невеселыми мыслями.

– Ох, не говорите... Я только что со следствия... Недавно тоже одно было: царская секта... Тут верстах в тридцати какая-то баба... Есть, видите, царская грамота, по которой крестьянская десятина должна считаться по две тысячи квадратных сажен каждая сторона. Сперва эту грамоту дворяне подменили, но теперь и дворяне уже согласны признать ее, но грамота попала к англичанке. Вот и решили устроить третейский суд, выбрали американку. Американка, не будь дура, говорит: «Кто больше мне заплатит, в того пользу и решу дело». И вот эта баба собирает деньги и по телеграфу пересылает их царю. Тут же, в другой комнате, – отнесет деньги, крестьяне слышат гул от придельанного механизма, выйдет к крестьянам: «Идите с богом, деньги ваши пошли уже». Если спросят ее: «А что, много еще недостает?» – Нет, говорит, получила от царя письмо: пишет, что не так уж много. – Показывает письмо от царя: грязная бумага. Говорит: «Твердо стойте: что прикажут – спросите: „А где царская печать?“ Нет – ничего и не делайте, ничего не исполняйте. Чуть ста-

роста с чем-нибудь: „А царская печать где? Хоть бейте, хоть убейте, без царской печати ничего от нас не добьетесь“».

– Остановился я у старушки одной, – продолжал Абрамсон. – Лет шестьдесят на вид – оказывается тридцать восемь всего. Имеет сына-большака – в прошлый голодный год женила его, хотя годами и не вышел. Зачем же женила? «Да, видишь, батюшка, – год-то голодный, а у нас бычок годовалый: скотинка ни по чем, а для свадьбы все равно мяса надо, – без этого будто уж и неловко – подумала, подумала и порешила большака женить». Я вот поем, расскажу, что сегодня было...

Когда Абрамсон поел, мы уселись с ним и доктором в старинной большой комнате, называвшейся библиотекой, – комнате, в которой, по уверению обитателей, жило привидение – женщина в белом, появлявшаяся всегда пред каким-нибудь несчастьем, – и Абрамсон начал.

– Из того, что я расскажу, Лев Николаевич сделал бы, пожалуй, поярче даже «Власти тьмы». В селе убит ночной караульщик. Село на новостроящейся железной, дороге. Переход, следовательно, сразу из пятнадцатого столетия в двадцатое: деньги, водка, наплыв всякого вольного люда... купец-скупщик, уже выстроивший для хлеба амбар, и вот сторож этого амбара убит... Амбар взломан, но ничего из амбара не взято – очевидно для отвода глаз... Убийство совершенно ночью. Первая подняла тревогу жена убитого: вдруг высунулась в окно и стала кричать на все село: «Убили, убили!»

К окну подбежал брат убитого и стал спрашивать ее, кого убили. «Ох, убили – беги, голубчик, скорее к амбару». Побежали и нашли действительно еще теплый труп. Выясняется, что жена убитого была в любовной связи с одним плотником из железнодорожных... Плотник уже старик: высокий, красивый. Муж, убитый, срамил жену как-то при всем народе, и жена плакала и жаловалась на это соседке. Общественное мнение было за убитого: он жаловался миру, что плотник живет у него и не хочет выселяться. Всем миром ходили тогда старики к избе убитого и выговаривали плотнику и даже немного пбили его. Требовали, чтобы и он и племянник его ушли из села, и грозили, что иначе не быть им в живых. На это старик плотник отвечал: «Как бы самим целым быть». Племянник тоже связался с одной молодой бабой, Марьей, у которой муж был больной, – сердцем болел и работать не мог. Племянник этого плотника, как оказалось, кормил свою любовницу и ее мужа, делясь с ними своими заработками. Муж открыто не хотел брать этого заработка его и жене запрещал брать, но есть было нечего ни ей, ни мужу, и она брала. Раз на празднике муж при всем хороводе сорвал с жены новый платок, упрекая ее в том, что платок этот у нее от любовника. Скоро после этого больной муж умер, а вслед за тем произошло и убийство плотником сторожа. Общественное мнение обвиняет в убийстве сторожа старика плотника, неясно намекая на возможность преступления и в семье Марьи. Вызываю жену убитого и старика плотника. Жена вол-

нуется, вопит, путается в показаниях... Старик совершенно спокоен, удостоверяет свое *alibi*<sup>11</sup> и вообще с высокомерным презрением относится ко всему следствию. Опять вызываю уже вместе обоих – жену убитого и плотника, дело уже к вечеру, на очную ставку. Старик стоит все с тем же презрением, высокий, сильный; жена убитого, Анна, взвинченная, худая, маленькая, лет тридцати пяти. Глаза большие, красивые. Кончил я очную ставку, измучился, сижу и задумался: какая-то фальшь чувствуется, улики слабы и недостаточны, чтобы привлечь их, и все-таки настолько значительны, чтобы не попробовать еще до чего-нибудь дорыться. И вдруг Анны голос решительный: «И то и тебя и себя мучу – вели всем выйти». Я, с испугом посмотрев на нее, велел всем выйти. Старик, уходя, так же величественно бросил ей: «Верно говорят: дура баба». Когда ушли все, она подошла вот так ко мне, села рядом со мной на скамью, оперлась рукой о голову и тихо, ласково говорит: «Слушай, мой голубчик, всю я тебе правду расскажу, нет моей больше силы, ох, изболелась я... Попутал грех, полюбила я его, так полюбила, что не стало мне больше света без него. Ох, боже мой, боже мой, да что же случилось со мной, будто ушла я вот куда и забыла мать-отца: вижу вот только его, слышу его – нет моей силы. Мучилась, мучилась и призналась покойному: „Грех меня спутал, не жена я тебе больше, отпусти меня“. Сама же его и надо-

---

<sup>11</sup> алиби (*лат.*) – нахождение обвиняемого, в момент совершения преступления, в другом месте, как доказательство непричастности его к преступлению.

умила, на свою голову: ему и невдомек было, а тут стал до-  
нимать, при людях срамить... Дальше, да больше, сердце не  
терпит, а тут и у племянника его с Марьей тоже грех пошел.  
Муж у Марьи хворый, гнилой. Дмитрий, племянник этот, на  
всю семью работает, его же, калеку, кормит, а он срамит, по-  
звал брата, да вдвоем ее били, на цепь хотели посадить. Вы-  
рвалась, прибежала ко мне, Дмитрий пришел... Я да вот мой,  
они двое – собрались мы на задах, тут вот в ту ночь и поре-  
шили покончить с обоими... Сперва Марья, а тут уж и до  
моего мужа дошло дело... Ох, все, что ли, рассказывать? Все  
уж, видно... Марья после того, как прикончила мужа, у меня  
в избе жила. То была баба здоровая, работающая, веселая, а  
тут, как неживая стала: только спит и спит, и Дмитрий слов-  
но уже не люб ей стал. В ту ночь, как убить мужа, я сама му-  
жа и разбудила в караул идти... А уж там ждали его и мой  
и Дмитрий... Ох! бужу, а он не хочет вставать: „не пойду“,  
говорит... „Как, говорю, не пойдешь, за что же ты жалова-  
нье получаешь?“ Говорю, а сама силком его поднимаю, са-  
ма азам на него натаскиваю, шапку, рукавицы сую... Сперва  
ругался, а тут „ну, благословляй“, говорит. „С богом“, – го-  
ворю. Скрипнула дверь – и ушел... А ночь темная... Гляжу  
в окно: ушел. Ох, ушел... Сама на смерть погнала. Ох, боже  
мой, в душе все так и ходит... Господи, господи... „Маша,  
Маша“... Бужу ее: „Слышь, говорю, ушел он“... Поднялась  
она и упала опять: спит... Ох, тоска... сумно... Одна, в избе  
темно, страшно... „Маша“... А тут: да что ж я это делаю?

Бросилась к окну, подняла подоконце, высунула голову и, уж и не помню, стала кричать: „Убили, убили“... Вот тебе все, как перед богом, прости ты меня, грешную изуверку...» Ну что ж?.. Дмитрия, Марью к допросу. Дмитрий запирается, а Марья, как и Анна, – «все расскажу. Заел мою жизнь постылый; терпела, а тут и терпеть перестала: все корит, все точит, издевается, а сам гнилой да немощный... Как вот порешили их обоих сжить, достал Дмитрий белого порошка, я ему на ночь и всыпала вместо того, который фельдшер велел ему давать. Выпил он, а уж сильно же недужный был, не мог уж и ходить...» – Так что, если б подождала, скоро и сам бы помер? – спрашиваю я. «Нельзя было ждать больше мне, всю душу вымотал издевкой: сам гнилой да немощный, а издевается. Лекарство даешь ему, а он укусить норовит... И жалости больше к нему не было... Выпил он порошок и смекнул, видно, что не тот я ему всыпала. Говорит: „Ступай, брата позови ко мне“. Брат в шабрах жил. Вышла я в сени, а в сенях Дмитрий притаился... „Что делать?..“ – Постой так, говорит, и скажи потом, что брат сейчас придет. – Тут мы с Дмитрием стоим да целуемся, а он там все стонет, все сильней. „Как бы, – говорит Дмитрий, – шабры не услышали“. Вошла я опять в избу. „Ну, что ж брат?“ А сам: „Ох, ох, ох...“ – „А ты, говорю, лучше не стони, брат придет“. Утих немного и опять стал стонать и говорить мне: „Отравила ты, душегубка, мышьяком меня“. Угадал... „Погоди, говорит, вот я в окно людей позову...“ И полез к окну... Я в сени к Дмитрию: „Что

ж, говорит, сам смерти дожждаться не может: подушкой его... Ты сзади, да рот заткни, а я подушкой...“ Я сзади подбежала, рот зажала ему, а он зубищами руку мне: я сама чуть не крикнула... Тут Дмитрий с подушкой подоспел, опрокинули мы его, подушкой накрыли, а сами сели, и злость в нас, сидим на нем и целуемся... Потом стащили его на место, где раньше лежал, а сами в сених спать легли. На заре Дмитрий ушел, а я пошла будить брата: помер, мол, ночью, и не слышала... Ну, хворый был, смерти все дожидались... Вот я тебе все сказала, и ты мне теперь скажи, научи, как мне с Дмитрием в одну каторгу попасть? Больше ничего мне и не надо...»

Мы молча смотрели на Абрамсона, а он говорил нам энергично, убедительно:

– Это не выдумка, а жизнь.

Да, жизнь, полная мрака и ужасов... Какие-то блески, какие-то молнии прорезывают иногда этот мрак, но от них еще темнее кругом...